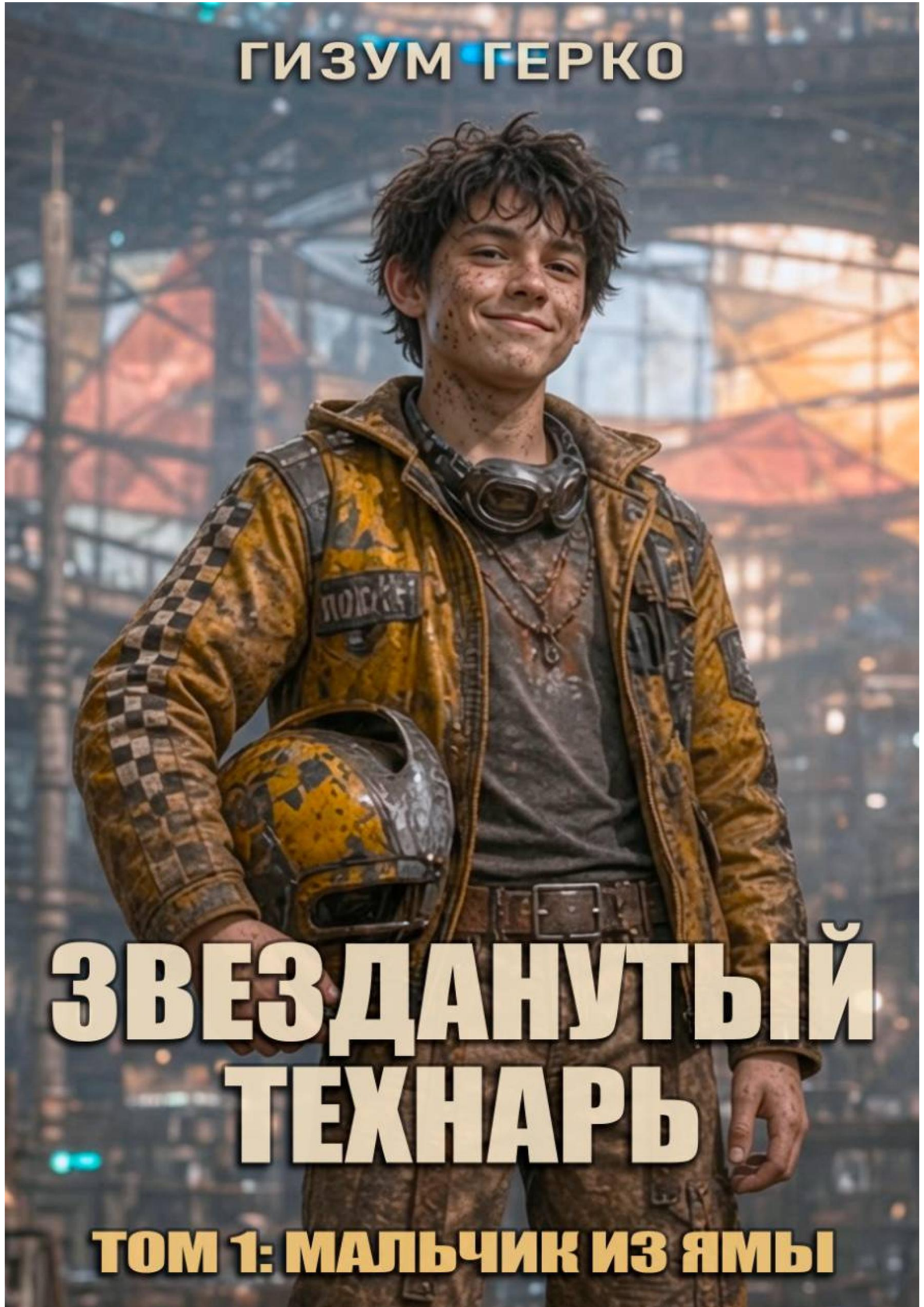


ГИЗУМ ГЕРКО

A young boy with dark, curly hair and freckles is the central figure. He is wearing a worn, yellow and black checkered leather jacket over a dark t-shirt. He has goggles hanging from his neck and is holding a matching checkered helmet under his left arm. The background is a blurred, dystopian cityscape with orange and red lighting, suggesting a post-apocalyptic or war-torn environment.

ЗВЕЗДАНУТЫЙ ТЕХНАРЬ

ТОМ 1: МАЛЬЧИК ИЗ ЯМЫ

Гизум Герко

**Звезданутый Технарь:
Мальчик из Ямы**

«Автор»

2026

Герко Г.

Звезданутый Технарь: Мальчик из Ямы / Г. Герко — «Автор»,
2026

Планета-свалка. Один экзамен, чтобы вырваться. Один сгоревший блок, который всё похоронил. И одна находка в секторе, куда не суются даже отбитые: мёртвый военный питбой. Запрещённый. Статья. Я должен был его сдать. Вместо этого я его починил. И железка заговорила. Так начинается моя история. История самого звезданутого технаря Галактики и моей язвительной напарницы, которую я собрал своими руками.

© Герко Г., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Смена	5
Глава 2. Дом, ролик и Ведро	12
Глава 3. Сгоревший блок	18
Глава 4. Три двери	24
Глава 5. Гонка	30
Гла	36
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Гизум Герко

Звезданутый Технар: Мальчик из Ямы

Глава 1. Смена

Утро на Целине пахнет горелым пластиком.

Не пожаром, пожар тут событие, на него сбегаются смотреть со всех соседних квадратов. Просто за ночь поля остывают, а на рассвете местное солнце снова принимается поджаривать миллионы тонн чужого хлама, и хлам отзывается: потеет, потрескивает и отдает в воздух этот самый запах. Лет до восьми я его вообще не замечал. Потом заметил, и все, отвязаться уже не смог. Теперь он работал у меня вместо будильника: чуешь горелый пластик, значит, смена началась, вставай.

В шесть двадцать я стоял у сборного пункта третьего сектора и честно дышал. Дышать на Целине, это отдельное упражнение. Воздух по кадастровому паспорту дотягивает до семидесяти восьми процентов имперской нормы, и недостающие проценты чувствуешь не грудью, а ногами: пробежишь сотню метров за уходящей платформой и потом стоишь, хватаешь ртом, как насос с пробитой мембраной.

Поэтому за платформой я не бегал. Я приходил раньше нее.

Платформа явилась в шесть тридцать одну, с опозданием на минуту и с достоинством, которое может себе позволить только очень старая машина. Восьмиколесный тягач "ГС-88", самой Гильдией в документах гордо именуемый «транспортом повышенной проходимости», а бригадой, коротко и по делу, Коровой. Корова гудела, дребезжала бортами и везла на прицепе пустую грузовую раму. Восемь колес в человеческий рост, дизель-реактор со стажем и подвеска, которая любую кочку передавала прямо в позвоночник, честно и без посредников.

Я запрыгнул на подножку, ухватился за поручень и сразу, по привычке, приложил ладонь к борту. Борт вибрировал. В вибрации, если прислушаться, жил весь характер машины: ровный низкий гул реактора, мелкая дрожь изношенного подшипника на третьей оси и одна нота повыше, тонкая, зудящая. Топливный насос опять работал на честном слове.

За рычагами сидел Хруст. Старый машинист выглядел так, будто его собрали на этих же полях из уцелевших запчастей: кожа, задубевшая до брезента, пальцы в шрамах от тросов, глаза цвета разбавленного чая. Он даже головы не повернул, но кивнул и я понял, что кивок мой.

— Насос слышишь? — спросил он вместо приветствия.

— Слышу, — сказал я. — Зудит на высокой. Мембрана садится.

— Садится, — согласился Хруст и перещелкнул рычаг. — Третий квартал как садится. Контора пишет: замена перенесена. Машина врать не умеет, врут таблички на ней.

Это была его любимая присказка, я ее слышал раз двести и все двести раз соглашался. Мне вообще нравилось, как говорят старые машинисты: медленно, редко и только то, что проверили руками. Я так пока не умел. У меня слова выскакивали раньше, чем я успевал их проверить, и за это мне регулярно прилетало.

Корова тронулась, и поле поехало навстречу. Если вы никогда не видели поля сортировки, то представьте себе степь до горизонта, только вместо травы на ней растет металл. Ровные квадраты, каждый со стороной в двести метров, каждый с номерным столбом на углу. В одних квадратах лом лежал горами, в других уже рассортированный, аккуратными штабелями, по классам. Между квадратами дороги, по дорогам ползут такие же Коровы, над всем этим висит рыжеватая пыль, а за горизонтом, там, куда в конце концов уезжает весь металл, стоит гул.

Гул орбитального лифта не слышишь ушами. Он ниже слуха, он приходит через подошвы и через грудины, ровный, бесконечный, как пульс очень большого зверя. Сам лифт от нас не виден, до него полтора часа езды, но по ночам на востоке светится нитка: трос уходит в небо, и по тросу ползут искры, грузовые капсулы. Взрослые на нитку давно не смотрели. Я смотрел каждый раз. Там, наверху, куда уползали искры, начинался космос, а в космосе, если верить учебнику астрографии за шестой класс, имелось примерно все, чего отродясь не было у нас внизу.

— Рот закрой, ворона залетит, — сказала Сойка.

Сойка сидела напротив, на лавке вдоль борта, и сматывала на локоть страховочный трос. Лучший слух бригады, тридцать лет на сортировке, лицо строгое, как накладная. Ворон на Целине, кстати, не водилось, вообще никакой живности крупнее клеща-пылевика, но спорить с Сойкой по мелочам не рисковал даже Крюк.

— Теть Сойка, а вы ворону живьем видели? — спросил я однажды, давно еще.

— Видела. В голофильме. Наглая, как приемка, и орет так же. Залетит, не обрадуешься.

С тех пор я на всякий случай закрывал рот. Птица, которую Сойка сравнила с приемкой, была способна на все.

Крюк, к слову, обнаружился тут же, у кабины. Стоял, расставив ноги, держал планшет и читал сводку с таким лицом, с каким читают некролог. Десятник нашей бригады был человеком простой конструкции: глотка, планшет и право выписывать штрафы. Все три узла работали безотказно.

— Так, — сказал Крюк, не отрываясь от планшета. — Веселье, бригада. Ночью приемка приняла с орбиты три борта вместо одного. Кто-то наверху перепутал графики и весь смешанный лом с разделки пришел на наш квадрат. Сто сорок тонн.

Лавка вдоль борта отозвалась стоном. Стонали все, кроме Сойки, она только сжала губы. И кроме меня, я еще не до конца понял масштаб бедствия. Сто сорок тонн смешанного лома, это плохо. Смешанный лом нельзя просто грузить, его надо разобрать по классам, а лифтовое окно у нашего сектора вечером, в девятнадцать сорок, и окно не переносится. Не успел к окну, груз остается лежать, норма не закрыта, штраф на всю бригаду.

— А чего сразу наш квадрат? — тоскливо спросили с лавки.

— Потому что везучий, — отрезал Крюк. — Параграф два-один: «Распределение объемов производится по совокупной эффективности бригад». Перевозу: кто хорошо работает, тому больше насыпают.

— А если работать плохо?

— Штраф.

— А если хорошо?

— Вот. — Крюк ткнул пальцем в сторону квадрата. — Учитесь, молодежь, задавать вопросы, на которые вам уже ответили.

— Не успеем, — сказал кто-то из контрактников. — Тут два дня работы.

— Параграф одиннадцать-три устава, — сказал Крюк, по-прежнему в планшет. — «Норма смены определяется фактическим объемом поступившего лома». Перевозу на человеческий: успеем. Потому что вариант «не успеем» в уставе не предусмотрен.

Устав мусорщиков Целины Крюк знал наизусть и цитировал параграфами, как другие люди ругаются. Я иногда подозревал, что внутри планшета никакого устава нет, а есть только зеркало, и Крюк просто любит себя, пока придумывает очередной параграф. Проверить это подозрение мне пока не удавалось.

Квадрат девятнадцать-дельта встретил нас горой. Настоящей горой: смешанный лом лежал навалом метров на шесть в высоту, и в утреннем свете вся эта куча отблескивала сотней оттенков ржавчины. Обшивки, шпангоуты, перекрученные фермы, обрывки кабельных жгутов,

залитые пеной блоки, покореженные панели с маркировкой, которую еще предстояло отмыть и прочитать. Пахло сверху окалиной, снизу старой смазкой, а от всего вместе тем особенным духом мертвого корабля, который ни с чем не спутаешь: металл, гарь и много ржавчины.

Красиво, если честно. Я эту мысль вслух никогда не говорил, засмеяли бы, но гора мертвого железа, это же не гора мусора. Это гора историй. Вот эта ферма, судя по клейму, летала еще при Конкордате. Вот этот лист со следами плазменной резки кто-то кроил второпях, вкривь, наживую. Каждую деталь кто-то проектировал, точил, ставил на место, ругался на нее, чинил ее в рейсе. А теперь все это лежало у нас в квадрате, и нам предстояло разобрать чужие истории по классам и отправить в переплавку.

— Разбивка стандартная! — гремел Крюк. — Класс А, цветные и редкие, в первый контейнер! Класс Б, композиты, во второй! Класс В, дюрапласт и черный конструкционный, в третий и четвертый! Класс Г, он же мусор мусора, в отвал! Дроны на подачу, люди на разбор! Работаем, бригада, окно в девятнадцать сорок!

Дронов у нас было четыре, сортировщики «Трудолюб-40», тупые, как табуретка, и примерно такие же ловкие. Трудолюбам умели ровно две вещи: хватать то, на что укажут, и везти туда, куда укажут. Указывать надо было лазерной меткой, медленно и внятно, как объясняешь дорогу приезжему. Четвертый дрон вдобавок страдал: у него подвисал блок ориентации и время от времени он замирал посреди квадрата, задумчиво мигая желтым.

Первым его в то утро разбудил я, проходя мимо: пнул ботинком в кожух, привычно, без злости. Внутри дрона щелкнуло, желтый сменился зеленым, и Трудолюб поехал дальше, как ни в чем не бывало. Ремонт по-целински: быстро, дешево, сердито. Тарифная контора может гордиться.

— Ты его хоть раз чинил по-человечески? — спросил молодой контрактник, наблюдавший процедуру.

— Зачем? После пинка он работает лучше, чем после ремонта. Я сравнивал: и то и другое делал я же.

Контрактник подумал и пнул второго дрона, для профилактики. Второй дрон работал исправно, поэтому обиделся и час возил груз мимо контейнера. У техники, как и у людей, профилактическое воспитание вызывает странные реакции.

Меня Крюк поставил на подачу и следующие четыре часа я провел внутри горы. Работа на подаче простая, как лом, и тяжелая, как лом: цепляешь крюком лист, выволакиваешь, глядишь маркировку, кричишь класс, ставишь метку дрону. Перчатки к десятому листу становятся жесткими от пыли, спина к сотому напоминает, что она есть, а маркировки к двухсотому начинают сниться наяву.

Зато маркировки я читал быстрее всех в бригаде и это не хвастовство, а простая арифметика: я на этих полях с восьми лет, сначала подсобником, подай-принеси, а клейма трех поколений кораблей выучил раньше, чем таблицу умножения. Таблицу умножения мне, в конце концов, никто не оплачивал, в отличие от маркировки.

К полудню гора осела на треть, и все шло почти хорошо, что само по себе должно было меня насторожить. Взрослые на Целине так и говорят: если смена идет хорошо, значит, ты чего-то не заметил.

Не заметили мы вот что: обшивку.

Ее было много, целый пласт, листы два на три метра, гнутые по одному радиусу, явно с одного борта. Снаружи листы отливали синеватой пленкой, красивой такой, глубокой, с перламутровым переливом. И сканер, ручной определитель сплавов «Сплав-Визор 200», единственный на бригаду, посмотрел на эту пленку и уверенно сказал: композит, класс Б.

— Композит, — подтвердила Сойка, отщелкнув сканер. — Слоистый, борт скоростного катера. Видала такие. Во второй контейнер.

И все бы ничего, но я в этот момент как раз выволакивал очередной лист, и лист, съезжая по куче, ударился ребром о ферму.

Дзынь.

Вернее, не «дзынь». В том и дело. Композит, он слоистый, у него звук двойной: сначала звонкий удар по внешнему слою, потом короткое глухое эхо, это отзывается наполнитель. Как будто два человека хлопнули в ладоши почти одновременно. Я этот двойной хлопок знал наизусть. А тут звук был один, глухой, плотный, без эха, звук цельного литого борта.

Я поставил лист и стукнул по нему костяшками. Потом ключом, у меня на поясе всегда жил гаечный ключ на семнадцать, инструмент и талисман в одном лице. Лист загудел низко и глухо, честно, как гудит только одно.

— Это не композит, — сказал я. И сам услышал, как громко это вышло.

На квадрате стало тихо. Ну, насколько бывает тихо на квадрате: дроны жужжали, гора потрескивала, лифт гудел через подошвы. Но бригада замолчала вся и сразу, потому что я, четырнадцатилетний, только что при всех поправил Сойку. Сойку, у которой слух, тридцать лет стажа и сканер в руках.

— Та-ак, — протянула Сойка тоном, от которого у меня похолодело между лопаток. — Не композит, значит. А что же это у нас, профессор?

Отступать было поздно. Отступать, честно говоря, было поздно уже в тот момент, когда я открыл рот, но я это понял, как обычно, после.

— Дюрапласт, — сказал я. — Вторая серия. Литой борт, не слоеный. Звенит глухо, одним тоном, без отзвука. А синяя пленка сверху, это не композитная рубашка, это окислы. Вторая серия так окисляется, если борт долго висел в разреженке. Сканер по пленке и врет: он верхний слой видит, а вглубь не пробивает, у него луч слабый.

— Луч у него имперский, — обиделась Сойка за прибор. — Поверенный.

— Поверка у него, между прочим, просрочена на два года, — вставил Хруст со своей лавки, не открывая глаз. Он в обед всегда делал вид, что спит, и всегда все слышал.

Крюк подошел неторопливо, как ходят люди, у которых планшет и власть. Посмотрел на лист. Посмотрел на меня. Взгляд у десятника был тяжелый, оценивающий, как будто он уже прикидывал, по какому параграфу меня оформлять.

— Осознаешь, — сказал он негромко, — что будет, если ты не прав? Двадцать тонн уйдут в контейнер класса Б. Приемка на лифте возьмет пробу, найдет дюрапласт, завернет весь контейнер целиком. Весь, понял? Вместе с настоящим композитом. И норма не закрыта, и окно упущено, и штраф на бригаду. Двенадцать человек, между прочим, не только твоя светлая голова.

— А если я прав, — сказал я, и голос у меня предательски сел на середине фразы, — то будет то же самое, только наоборот. Дюрапласт, сданный как композит, заворачивают так же. Проверьте резак, и все. Пять минут.

— Он еще и условия ставит, — сказала Сойка куда-то в небо.

Но Крюк уже махнул рукой, и Хруст, кряхтя, принес плазменный резак, древний «Огонек-3» с обмотанной изолентой рукояткой. Резак чиркнул по краю листа, снял верхний слой стружкой, и под синеватой пленкой открылся ровный серый срез. Однородный. Литой. Без единого слоя.

Хруст поскреб срез пальцем, поднес к глазам крошку, зачем-то понюхал.

— Дюрапласт, — вынес он приговор. — Вторая серия, точно. Вон и клеймо проступило, гляди. Год выпуска ха. Молодой человек, борт твой ровесник.

Бригада выдохнула. Кто-то заржал, кто-то хлопнул меня по спине так, что я чуть не встретился с листом лбом. Пласт обшивки, все двадцать тонн, переехал из второго контейнера в третий, приемка получила то, что написано в накладной, а норма, которая последние десять минут висела на волоске, вернулась на место.

Сойка подошла последней. Постояла, пожевала губами, глядя на серый срез.

— Слух у пацана от отца, — сказала она наконец, ни к кому конкретно не обращаясь.
— Упрямство, к сожалению, тоже.

И пошла к своему ряду, прямая, как страховочный трос. Это была самая высокая похвала, которую можно получить от Сойки и мы оба это знали. У меня внутри стало горячо и гордо, и я, наверное, минуты две улыбался, как дурак, пока таскал листы.

Зря улыбался. Потому что ко мне уже шел Крюк, и планшет он нес перед собой, как жрец несет скрижаль.

— Форк, — сказал он казенным голосом, и я сразу понял: сейчас будет устав. — Параграф шесть-два. «Самовольное вмешательство в процедуру классификации, произведенное вне наряда, приравнивается к порче инвентаря». Инвентарь у нас, между прочим, ты и есть. Штраф: двадцать талонов.

Я задохнулся. Двадцать талонов, это полдневная норма. Это неделя ужинов, если считать едой то, что выдают по талонам. Это я только что спас бригаде смену, и мне же

— За что?! — выдал я. Хотел твердо и по-мужски, а вышло тонко и по-цыплячьи, я сам услышал и разозлился еще больше. — Сканер врал! Если бы я промолчал

— Если бы ты промолчал, — согласился Крюк, тыча в планшет пальцем, — бригада попала бы на недельный заработок. А так попал ты один и на двадцатку. Арифметику в твоей вечерней школе еще не отменили? Вот и считай. Инициатива, Форк, наказуема. Особенно полезная: за вредную инициативу я бы тебя просто выгнал.

Он развернулся, сделал два шага и бросил через плечо, не оборачиваясь:

— На весовую встанешь. Цифры читать умеешь, вот и читай. А то у меня от вашей пыли глаза устали.

И ушел штрафовать дальше. Бригада вокруг очень старательно не смеялась: весовая, это самый легкий пост на квадрате, сиди в будке да записывай тоннаж, и ставят туда обычно либо начальство, либо покалеченных. Меня туда поставили в четырнадцать лет, через три минуты после штрафа, и в этом был весь Крюк, целиком, в одном флаконе: он умел благодарить только так, чтобы благодарность нельзя было подшить к делу.

— Скажи спасибо, — посоветовал Хруст, когда я проходил мимо. — Только молча. Вслух он не любит.

Весовая будка стояла на краю квадрата, у погрузочной рампы: жестяная коробка два на два, пульт с лентой, окно на конвейер. Контейнер заезжает на платформу, платформа стоит, цифры на табло прыгают и успокаиваются, ты записываешь тоннаж в ведомость и даешь отмашку. Вся работа. После горы это был курорт, и я даже успевал думать, что для меня роскошь: обычно к концу смены думалка отключается первой, раньше ног.

На стене будки, под графиком поверки, обнаружился список карандашом: кто и за что сюда сослан. Летопись вели годами, почерка менялись. Последним значился сам Крюк, рука его, статья не указана. Я вписал себя ниже, аккуратно, по ведомости: «Форк. Инициатива». Пусть висит. Архивы на Целине живут дольше людей, я на это рассчитывал.

Обеденный перерыв бригада провела тут же, у рампы, в тени ангара. Сойка разогрела на плитке лапшу, настоящую, со специями, а не ту серую, что по талонам, и молча поставила передо мной вторую миску. Я так же молча съел. Разговаривать с Сойкой сразу после того, как ты ее опроверг, не стоило, а вот есть ее лапшу было можно и нужно: у нее еда и прощение всегда шли одной накладной.

Взрослые расселись на пустых катушках из-под кабеля и завели вечный обеденный разговор, который я слышал, наверное, тысячу раз, и который каждый раз слушал, как в первый. Про тарифы. Про то, что кислородные фильтры с нового квартала подорожали на два талона. Про то, что у приемщика на лифте появился помощник из круми, и торговаться теперь стало вдвое дольше, потому что круми торгуется всеми четырьмя руками сразу.

— А я вот что скажу, — объявил Хруст, дуя на лапшу. — Мечта у меня простая. Дожить до пенсии так, чтобы в доме был хлеб и рабочий аккумулятор. Все. Больше человеку не надо.

— Губа не дура, — хмыкнула Сойка. — Рабочий аккумулятор он захотел. Аккумуляторы, между прочим, за живые кредиты идут, не за талоны.

— Так и я о чем. Мечта, она и должна быть недостижимая, иначе какая это мечта. Это план.

Все посмеялись, а я промолчал и на всякий случай уткнулся в миску. Потому что моя мечта была еще недостижимее, и озвучивать ее в этом кругу не стоило совсем. Хруст мечтал об аккумуляторе, контрактники о выкупленном контракте, и все эти мечты хотя бы стояли на земле. Моя не стояла. Моя висела на востоке, над горизонтом, тонкой ниткой, по которой ползут искры. Мечтать на Целине, кстати, разрешалось бесплатно: единственное, на что тут не было тарифа. Я иногда думал, что это недоработка конторы, и когда-нибудь они спохватятся.

Молодой контрактник из второй пары, скучая, начал насвистывать что-то бодрое, и Сойка, не поворачивая головы, отвесила ему подзатыльник.

— Не свисти в кузове, — сказала она. — Кузов разгерметизируется.

— Так мы ж не в кузове, тетя Сойка. И не в космосе. Чему тут герметичным быть?

— А примета не спрашивает, где ты. Свистишь, высвистишь дыру. Отцы так говорили, и ты говори.

Контрактник заткнулся. С приметам на Целине не спорили даже те, кто в них не верил: приметы, в отличие от тарифной сетки, хотя бы никогда не менялись задним числом.

Я доел лапшу и, пока взрослые спорили про фильтры, разглядывал стену ангара напротив. Стена была старая, конкордатской еще постройки, и на ней, под слоями пыли и потеков, доживал свой век плакат. Огромный, метра четыре, выцветший до костяного цвета. На плакате человек в рабочем комбинезоне поднимал руку, то ли указывая куда-то вверх, то ли что-то бросая, уже не разобрать. Внизу когда-то шла строка текста, но от нее осталось три буквы и полбуквы. Я в детстве думал, что это реклама лифта: рука ведь вверх показывает. Потом однажды спросил у Хруста, что там было написано. Хруст посмотрел на плакат долгим взглядом, сказал: «Крась стену, не крась, а грунт все равно проступает», и ушел к своей Корове. Я тогда решил, что он не расслышал вопроса. Переспрашивать почему-то не стал.

После перерыва смена покатила под горку. Гора таяла, контейнеры наполнялись, мои цифры на весовой складывались одна к другой, как патроны в обойму: восемь и две, двенадцать и шесть, девять ровно. К девятнадцати десяти последний, четвертый контейнер класса В встал на платформу, табло отплясало свое и выдало итог. Сто тридцать девять и восемь. Двести кило до круглого счета, и я, честное слово, еле удержался, чтобы не сбегать и не докинуть в контейнер какую-нибудь ферму лично.

В девятнадцать сорок, минута в минуту, сцепка из четырех контейнеров ушла с квадрата в сторону лифта. Я стоял у будки и смотрел ей вслед. Где-то там, через полтора часа, эти контейнеры взвезят еще раз, вкатят в грузовую капсулу, и капсула поползет по тросу вверх, искрой по нитке, туда, где двадцать тонн дюрапласта второй серии, лично мной спасенные от пересортицы, переплавят и раскатают в обшивку какого-нибудь нового корабля. Корабль улетит куда-нибудь в центральные миры и никогда не узнает, что его борт когда-то валялся кучей на квадрате девятнадцать-дельта, и что класс ему выставил на слух один пацан с Целины.

Мне это казалось честной сделкой. Почти.

Домой Корова довезла нас уже в сумерках.

Наш блок-контейнер стоял в рабочем секторе у Купола Омега, третий ряд, семнадцатое место: стандартная жилая коробка шесть на два и четыре, с тамбуром, отоплением от общей сети и видом на такую же коробку напротив. Мать была еще на смене: она диспетчер грузового

терминала при лифте, а вечерние составы сами себя по ниткам не разведут. Так что дверь я открывал в темноту и тишину, только питание гудело в щитке за тамбуром, как сытый шмель.

Внутри у нас было бедно, но по-людски: койка моя, койка матери, стол, полка, сундук. Под моей койкой жил отцовский ящик с инструментом, и я, входя, стукнул по нему пяткой, привычно, как здороваются. Ящик отозвался глухо и солидно. Дюрапласт. Первая серия, та еще, довоенная: отец говорил, что ящик переживет всех нас, и пока что ящик держал слово.

Я разогрел ужин, полбрикета по талону и остаток соуса, съел, не чувствуя вкуса, вымыл миску и сел в свой угол. Угол стола, ближний к щитку, был мой: там лежали учебники, стопкой, по ранжиру, и стоял вычислитель. Вычислителем это устройство называл только я. По документам, которые давно потерялись, оно было списанным бухгалтерским терминалом «Гроссбук-7», по возрасту годилось мне в деды, а по характеру напоминало старого приемщика: считало медленно, ворчало вентилятором, но не ошибалось никогда.

До квотного экзамена оставалось четыре месяца без малого. Я посчитал на пальцах, загигая по неделе на палец, потом сбился, плюнул и посчитал на Гроссбухе, честно, по календарю. Вышло сто восемнадцать дней.

Сто восемнадцать дней, один экзамен, одна имперская квота на весь наш сектор. Одно место. На него подавались дети клерков из Купола, дети приемщиков, дети диспетчеров, все с репетиторами, все с нормальными вычислителями, у которых вентилятор не заглушает мысли. И один пацан с сортировки, у которого из репетиторов был задачник за прошлое десятилетие, а из вычислителей Гроссбук.

Расклад мне нравился. Не в том смысле, что у меня были шансы, шансы у меня были примерно как у Трудолюба на балете. Но я сегодня на слух угадал сплав, который не взял поверенный имперский сканер, и что-то мне подсказывало, что экзамен тоже где-то ошибается в свою пользу, надо только найти, где у него корка окислов.

Я открыл задачник на закладке, придвинул тетрадь и включил Гроссбук. Терминал прогудел свою вечную увертюру, помигал и выдал рабочий экран.

И тут свет мигнул.

Не по-хорошему мигнул: лампа под потолком присела, погасла на полсекунды и вспыхнула снова, а Гроссбук испуганно щелкнул и перезапустился, бормоча вентилятором что-то виноватое. В щитке за стенкой коротко затрещало и стихло. По сектору, судя по окнам напротив, волна прокатилась такая же: свет присел во всем ряду.

— Трансформатор чихнул, — сказал я вслух, как говорили все взрослые в таких случаях. — Бывает.

Скачки в нашей сети случались, старое оборудование, конец квартала, нагрузка. Взрослые на них давно не реагировали, ну мигнуло и мигнуло.

Я подождал, пока Гроссбук прогудит увертюру по второму разу, и открыл задачник.

Бывает, да. Только вот отец учил: если машина чихнула один раз, это не машина чихнула. Это она предупредила.

Я решил задачу до половины, а потом поднял голову и принюхался. Из щитка за стенкой тянуло теплым. Не горелым, нет. Просто теплым, как тянет от человека, который решил соврать, но еще не открыл рот. Я пообещал себе глянуть контакты завтра, после смены, первым же делом, и вернулся к цифрам. Гроссбук гудел. Лампа держалась. Щиток молчал. Молчал старательно, как молчит техника, которая уже все про себя решила.

Глава 2. Дом, ролик и Ведро

Мать пришла со смены в восемь вечера и первым делом, еще из тамбура, сказала:

— Двенадцатый на третью нитку не лезет. Порожняк с четвертой сняли, а окно ему не сдвинули. Гении.

— Добрый вечер, мам, — сказал я.

— Добрый, — согласилась она и только тут, кажется, вернулась с работы по-настоящему.

Моя мать двенадцать лет сидела диспетчером на грузовом терминале лифта, и у нее от этого осталась привычка: она продолжала разводить составы еще часа два после смены. Вслух, вполголоса, с номерами ниток и окнами подач. Отец когда-то говорил, что маму нельзя будить резко: спросонья она может отправить тебя четвертой ниткой на переплавку. Отца три года как не было, а шутка жила у нас в доме до сих пор, только вслух ее больше никто не произносил.

Мы сели ужинать. Лапша на двоих, брикет разошелся ровно, у матери это получалось не как у меня: у меня всегда одна миска выходила гуще, а у нее хоть весами проверяй. Пахло лапшой, разогретой плиткой и чуть-чуть канифолью: канифоль в нашем контейнере не выветривалась никогда, сколько ни проветривай. Мой угол стола, мой запах.

— Штраф, говорят, — сказала мать между двумя глотками. Не спросила, а именно сказала, как объявляют по громкой.

Я чуть лапшой не подавился. Скорость распространения новостей на Целине превышает скорость света, это научный факт, просто его стесняются публиковать.

— Двадцать талонов, — признался я. — Зато норму закрыли. Там обшивку была, сканер ее композитом записал, а она дюрапласт, вторая серия, я по звуку

— По звуку, — кивнула мать. — А Крюк, значит, по параграфу. Все при деле.

Она доела, сполоснула миску и посмотрела на меня так, что я на всякий случай выпрямил спину.

— Штраф отработаешь, — сказала она. — А сейчас за стол. У тебя билет седьмой не сдвинулся с четверга.

Вот за это я мать и уважал, хотя вслух такое в четырнадцать лет, конечно, не говорят. Другая бы час пилила за двадцать талонов. Моя списала их в убытки одним предложением и перешла к главному. Диспетчер: сожалеть об ушедшем составе будешь в свободное время, а сейчас разводи следующие.

Билет номер семь назывался «Основы орбитальной механики» и был у меня любимым и проклятым одновременно. Любимым, потому что там все честно: масса, скорость, высота, и никакой тарифной сетки. Проклятым, потому что считать переходы между орбитами на нашем вычислителе, это спорт. Отдельный, целинский вид спорта, с нормативами на терпение.

Я расчистил свой угол стола, выложил задачник, тетрадь, и включил Гроссбух. Терминал прогудел увертюру, помигал зеленым и выдал рабочий экран со скоростью, с какой старики выходят к завтраку.

И тут в мой локоть ткнулось Ведро.

Про Ведро надо рассказать отдельно, потому что без Ведро наш дом не дом. Официально это называлось «самодельное вспомогательное устройство класса А», и на боку у него была выведена маркировка, которую я сам и выцарапал, по всем правилам: класс А, номер регистрации, владелец. Класс А, это значит: возить, светить, подавать по команде, питать. Все. Точка. Устройство класса А не думает, не запоминает лица, не поддерживает разговор. За «поддерживает разговор» в Империи есть отдельная статья, и по ней дают не штраф.

Я собрал Ведро год назад, из того, что поле послало: шасси от списанной поломоечной машины «Блеск-2», манипулятор от разобранного Трудолюба, фара от погрузчика, аккумуля-

тор оттуда же, пищалка от столового таймера. Корпусом стало оцинкованное ведро на тридцать литров, отсюда и имя. Мозгов я ему поставил ровно столько, сколько разрешает регламент: платка на шесть команд. «Ко мне», «стой», «свети», «подай», «домой», «тихо». Шесть команд, ноль мыслей, самая законопослушная табуретка сектора.

Проблема была в том, что и эти шесть команд Ведро выполняло творчески.

— Подай припой, — сказал я, не глядя, потому что уже разбирал первую задачу.

Ведро загудело, уехало в угол, погромело там и с торжествующим писком привезло мне плоскогубцы.

— Это не припой, дружище.

Ведро пискнуло еще раз, увереннее. Логика у него была такая: раз привез, значит, задание выполнено, а что именно привез, это уже детали и придирки. Я иногда думал, что из Ведра вышел бы отличный тарифный клерк.

— Подай. Припой. — Я показал пальцем на катушку. Со второго раза, с наведением, у нас получалось: манипулятор, жужжа, взял катушку, уронил, поднял, уронил, поднял и торжественно доставил мне ее по воздуху, шлейфом раскрутив с нее полметра проволоки. Я это полметра молча смотал обратно. С Ведром главное не спешить: спешащий человек и Ведро, это авария на ровном месте.

Аккумулятор у Ведра, между прочим, к вечеру сел, и оно, выполнив подачу, само поехало к щитку. Это была единственная его самостоятельность, которую я запалял намертво и законно: реле разряда, тупая железка, никакого интеллекта. У щитка висел мой самодельный удлинитель с гнездом под погрузочный разъем, Ведро тыкалось в гнездо с четвертой примерно попытки, вставало и начинало питаться, помаргивая фарой в такт зарядным импульсам. Мать называла это «скотина пришла к кормушке» и, по-моему, была не так уж далека от истины.

— Ты позор робототехники, — сообщил я ему, забирая плоскогубцы. — Но ты мой позор робототехники. Свети сюда.

Вот команду «свети» Ведро любило. Фара у него была мощная, честная, от погрузчика, и светило оно с энтузиазмом, которого хватило бы на три фары. Правда, понятие «сюда» в его платку не влезло, поэтому светило Ведро туда, куда смотрела фара в момент команды, и горе тому, кто потом передвинулся.

Задача первая была про грузовую капсулу. Собственно, в квотных билетах половина задач была про грузовые капсулы, лифты и буксиры: Империя людей практичных, и математику она спрашивала практичную. Дано: капсула отцепляется от троса на высоте четыреста двадцать километров, требуется перевести ее на орбиту склада на шестьсот восемьдесят. Вопрос: два импульса, величины, время перехода.

Я такие задачи любил еще и потому, что видел их глазами. Не буквы «дельта-вэ», а вот эту самую капсулу, обшарпанную, с гильдейской маркировкой на борту, как те, что каждую ночь ползли по нашей нитке вверх. Где-то там, наверху, сидит человек, а скорее не сидит никакой человек, а щелкает древний автомат, и он должен дать движку ровно столько, сколько надо. Дашь меньше, капсула вернется поцеловать трос. Дашь больше, уйдет свистеть в пустоту, и какой-нибудь диспетчер, может даже моя мать, будет потом полсмены ловить ее по всем ниткам.

Первый импульс у меня сошелся быстро, в столбик, на бумаге. Со вторым я полез в Гроссбух, и вот тут начался спорт.

Гроссбух считал корень из числа тридцать секунд. Честных тридцать секунд: гудел, мигал зеленым курсором, думал о чем-то своем, бухгалтерском, потом выдавал ответ, всегда правильный. Я за эти тридцать секунд успевал прикинуть ответ в уме, записать прикидку, усомниться в ней и обгрызть заусенец. На экзамене, между прочим, сорок задач на три часа. Четыре с половиной минуты на задачу. Если по каждой ждать Гроссбух по два-три захода, время съедено, даже не жуя.

— Мам, а на экзамене точно можно со своим вычислителем? — спросил я, пока курсор мигал.

— Можно со своим, можно на казенном терминале Центра. — Мать штопала рукав рабочей куртки, быстро, зло и очень ровно, как она делала все. — На казенном не вздумай. Я в том Центре бывала, у них терминалы с моего выпуска стоят. Западают клавиши. Будешь свою жизнь решать на машине, у которой запятая через раз.

— Значит, на Гроссбухе.

— Значит, на Гроссбухе, — отрезала она таким тоном, будто закрыла ведомость.

Гроссбук, услышав свое имя, как раз доразмышлял и выдал корень. Ответ с моей прикидкой сошелся до второго знака, и я, честно скажу, две секунды собой гордился. Потом посмотрел на время: одна задача, одиннадцать минут. При нормативе четыре с половиной. Гордость, как и все на Целине, оказалась по талонам.

Дальше пошло веселее: переходы я щелкал уже на автомате, только на интегралах притормаживал и ждал старика. К десятой задаче спина сказала все, что думает о моей осанке после смены с крючьями, и я объявил перерыв.

Перерыв у меня был всегда один и тот же. Ритуал.

На полке над моей койкой, между учебниками и жестяной с резисторами, жил визор. Бытовой голопроектор «Спектр-8М», найден на поле два года назад, в состоянии «труп с прицепом»: линза колотая, блок развертки залит чем-то бурым и навеки. Я его собирал четыре месяца. Линзу выточил из кабинного триплекса, развертку пересадил от медицинского сканера, наглазники нарезал из дверного уплотнителя. Изображение он давал с зеленцой по краю и тонкой трещинкой в левом нижнем углу, но давал же.

А рядом с визором стояла коробка из-под пайковых галет, и вот она была главным моим богатством. Чипы. Двадцать шесть штук. Древние голофильмы, конвертированные записи, которым тысяча лет в обед, я в нумерации эпох путался. Часть я выкопал сам, чипы иногда попадаются в развалах бытовой техники, их не берет ни ржавчина, ни время, только пыль. Часть выменял на рынке у круми, у того самого, с прижимистыми верхними руками и щедрыми нижними: за три рабочих реле, за моток серебрянки, за перемотанный движок вентилятора. Круми считал, что грабит меня. Я считал, что граблю его. Редкий случай честной сделки.

Над койкой, приклеенный на четыре полоски изоленты, висел плакат. Выцветший до костяного, как все старое на Целине: парень в белых одеждах поднимал над головой меч из чистого света. Свет этот когда-то, судя по уцелевшим краям, был зеленым, но за годы выгорел до белесого, и получалось, что парень держит над головой просто свет. Не знаю, что там имели в виду художникипару сотен лет назад, а по-моему, выходило даже лучше.

Выбор чипа, это тоже была часть ритуала. Подписей на чипах не полагалось, я их различал по царапинам и помнил наизусть, как Сойка сплавы: вот этот, с щербиной на углу, фильм про капитана в шляпе, который должен всем в галактике и всем должен остаться; вот эти два, парные, про восстание машин, я их даже Ведру в шутку не показывал; вот этот, самый затертый, про корабль, который везет замороженных людей и что-то идет не так. Смотреть их подряд я себе запрещал, как запрещают сладкое: по одному куску за вечер, иначе коллекция кончится, а новые шедевры доисторического кино на нашем поле попадают реже, чем совесть в тарифной конторе.

Но перед зубрежкой шел всегда один и тот же. Тот самый.

Я надел визор и запустил тот самый кусок. У меня из всего фильма уцелело минут двадцать, середина, без начала и конца, но эти двадцать минут я знал так, как Крюк не знает свой устав. Захолустная планета, две луны, песок до горизонта. Парень стоит у своего дома и смотрит на закат, и по лицу видно: он застрял. Ферма, тетка с дядькой, урожай, и никакого просвета, и вся галактика гремит где-то без него.

А потом он улетает. Там много чего было между, у меня как раз середина, но суть я знал точно, суть на Целине знали все, кто хоть раз слышал эту историю: парень с захолустной планеты, с самой дальней дыры во всей галактике, стал лучшим пилотом, какого эта галактика видела.

Понимаете, да? Схема рабочая. Прецедент есть!

Мне было четырнадцать, и я в эту формулу верил без всякой иронии, всерьез, как верят в таблицу умножения. Захолустнее нашей планеты еще поискать. Значит, по всей логике, где-то тут должен ходить будущий лучший пилот галактики. А раз никто из моих знакомых на эту должность не претендовал, вакансия была свободна.

После фильма, по ритуалу, шел ролик.

Ролик Академии я тоже держал на чипе, его нам крутили в школе Купола каждый год перед набором, и я в тринадцать лет не поленился, притащил визор и переписал по прямому лучу. Три минуты сорок секунд. Я знал их наизусть, до вздоха.

Белые палубы. Это первое, что там показывают: коридор учебного крейсера, такой белый, что глазам больно, и курсанты идут строем, и у каждого белые перчатки. Потом рубка: экраны в полстены, туманность на обзорном, молодая женщина-навигатор ведет пальцем по проложенному курсу. Потом причал: исследовательский корабль отходит от станции, медленно, торжественно, как уходит в рейс что-то очень большое и очень уверенное в себе. И голос диктора, бархатный, какого на Целине не бывает, у нас от пыли такие голоса не выживают:

«Империя открыта талантам. Академия Космофлота ждет тебя».

— Академия Космофлота ждет тебя, — проговорил я вместе с диктором, шепотом, чтобы мать не слышала.

В ролике у кадетов были белые перчатки. Я таких чистых рук вообще никогда не видел, даже у клерков тарифной конторы. Я иногда ловил себя на том, что верю ролику не из-за кораблей и туманностей, а из-за этих перчаток: если где-то существуют настолько белые перчатки, значит, там точно нет сортировочной пыли. Логика четырнадцати лет, не судите строго.

— Опять свое кино гоняешь, — сказала мать. Не оборачиваясь: у диспетчеров глаза на затылке, это профессиональное.

— Перерыв, — сказал я. — По науке положено. Мозг усваивает.

— Мозг усваивает. — Она перекусила нитку и разгладила заштопанный рукав. — Твой светящийся меч завтра в шесть на смену не выйдет. А ты выйдешь.

Против этого аргумента у меня за четырнадцать лет так и не нашлось приема. Я снял визор, убрал чип в галетную коробку, к остальным двадцати пяти, и сел обратно к Гроссбуху. Ведро, все это время честно светившее в опустевший стул, переехало за мной и устало фарой в затылок.

Часам к десяти я добил шестую задачу и, пока Гроссбух пережевывал очередной корень, спросил в спину матери:

— Мам, а у вас сегодня что было? Ну, кроме двенадцатого на третью нитку.

Спросил наполовину из хитрости: когда мать рассказывала про терминал, она отходила, и вечер делался мягче. Но только наполовину. Вторая половина была честная: я ее рассказы любил, как другие пацаны любят байки про пиратов.

— Что было. — Мать отложила куртку на колени. — Было то, что четыре-двенадцать пошла с троса с недобором. Автомат отсечки соврал на полсекунды, капсула отцепилась раньше расчетной точки, и скорость у нее в недоборе. Знаешь, что это значит?

— Перигей просядет, — сказал я раньше, чем подумал. — Она по эллипсу вниз пойдет. К тросу.

Мать посмотрела на меня секунды две. У нее это было высшей формой похвалы: посмотреть две секунды молча.

— Перигей просядет, — согласилась она. — Через полтора витка она бы у нас чиркнула по грузовой нитке, а на нитке в этот момент состав из шести капсул. И вот сидит твоя мама, и у нее девяносто секунд окна, пока четыре-двенадцать в зоне связи, и автомат, который уже один раз соврал. Дальше что делать?

— Импульс на разгон. В апогее, — сказал я. — Догнать до круговой. Сколько у нее движок?

— А вот это правильный вопрос, — сказала мать с таким выражением, будто я наконец-то родился не зря. — Движок у нее маневровый, слабенький, три десятых метра в секунду за секунду. И топлива на самом доньшке, там всегда на доньшке, потому что заправка по тарифу. Считали мы с Симом в четыре руки, руками, потому что автомату веры уже нет. Дали два импульса по половинке, с контролем между. Прошла в шестидесяти метрах над составом. Списали на износ отсечки, оформили актом, живем дальше.

— Это же билет семь, — сказал я тихо. — Задача восемь, сход с троса. Только у вас по-настоящему.

— Вся моя смена, это твой билет семь по-настоящему, — мать снова взялась за иглу. — Только в билете внизу ответ напечатан. А у меня внизу шесть капсул и нитка. Считай давай. Гроссбух твой уже досчитал, вон, мигает.

Часам к одиннадцати она закончила с курткой, налила себе кипятку и села напротив. Это у нас означало разговор.

— В воскресенье пробный, — сказала она. — Полный, по протоколу. Сорок задач, три часа, как в Центре. Я выходная, буду сидеть с секундомером.

— Мам, я и сам могу с секундомером

— Сам ты себе две минуты простишь и не заметишь. — Она подула на кипяток. — А наблюдатель в Центре не простит. Роджер, ты понимаешь, сколько мест дают на квоту в этом году? Одно. Одно место на весь сектор, на всех детей всех клерков Купола. И у клерков репетиторы.

— А у меня слух и Гроссбух, — сказал я. Бравада вышла так себе, процентов на сорок. Мать не улыбнулась.

— У тебя голова Гейра, — сказала она ровно. — И это единственное, что у тебя есть против их репетиторов. Поэтому голова должна работать быстрее. Не так же быстро. Быстрее.

Про отца она говорила редко и всегда вот так: по делу, как о рабочем узле, который надо учитывать в расчете. Я знал, что под койкой у меня стоит его ящик, дюралластовый, первой серии, с инструментом, который мать не дала продать даже в самый тощий квартал. Я знал, что моток синей изоленды из этого ящика она однажды молча положила обратно, когда я хотел взять его на поле: не для поля. И я знал ее главную цитату из отца, она доставала ее в особые дни, как парадный инструмент:

— Отец бы сказал: не верь конторе, верь рукам. — Мать отпила кипятку. — И еще он говорил: если что-то нельзя починить изолентой, значит, вы взяли мало изоленды. Так вот, экзамен изолентой не чинится. Экзамен, это единственная вещь на этой планете, которую придется сделать с первого раза и начисто.

Она сказала это и посмотрела мимо меня, на плакат с парнем и его выгоревшим мечом, и на секунду мне показалось, что сейчас она скажет что-то еще, не по делу, не про экзамен. Не сказала. Диспетчер.

— А если не сдам? — спросил я. Тихо, в миску с остывшим чаем. Сам не знаю, зачем спросил, до того вечера я это слово вслух не говорил.

Мать поставила кружку. Стук вышел точный, как штамп на накладной.

— Гильдии ты нужен здесь, — сказала она. — Ты им уже сейчас нужен: слухач, дешевый, свой, никуда не денется. Значит, будешь нужен и там, наверху. Такие, как ты, нужны везде,

вопрос только, кто первый оформит. Я предпочитаю, чтобы Империя. У нее хотя бы кормят и учат. Все, вопрос закрыт. Считаю.

И я считал. До половины первого, пока цифры не поплыли, я гонял билет номер семь: переходы, окна, импульсы, наклоны. Гроссбух гудел, думал, выдавал. Ведро светило мне в левое ухо, потому что «свети сюда» было сказано час назад и с тех пор я сместился. Мать легла, но не спала: я слышал, как она вполголоса, уже из-под одеяла, доразводила чей-то состав. «Порожняк на вторую двенадцатый подождет»

Свет мигнул. Коротко, привычно: лампа присела и вернулась, Гроссбух испуганно щелкнул курсором, а Ведро у щитка выдало жалобную трель, зарядные импульсы сбились, и его реле обиделось. Сеть сектора к ночи всегда шалила, конец квартала, нагрузка, старье в щитках. Никто в целом ряду контейнеров, наверное, даже головы не поднял.

— Тихо, — сказал я Ведру. Оно пискнуло последний раз, для порядка, и присосалось к гнезду обратно.

Второй раз мигнуло через час, уже глубже: лампа погасла на целую секунду, и Гроссбух перезапустил экран, потеряв мне недописанную строку решения. Я переписал строку и мысленно пообещал трансформатору сектора все, что в таких случаях обещают технике взрослые мужчины на поле. Помогло: больше не мигал. Техника уважает конкретику.

На последней задаче, это была красивая задача, про сход капсулы с троса при обрыве, та же мамина четыре-двенадцать, только хуже, я поймал себя на том, что читаю условие третий раз и не понимаю ни слова. Смена, крючья, сто сорок тонн, штраф, лапша, корень за тридцать секунд. Я положил голову на задачник, на минутку, просто дать глазам темноту.

Сквозь подступающий сон я слышал, как скрипнула койка, как мать прошла по контейнеру, как остановилась около меня. Она не стала будить и гнать в постель, она вообще ничего не сказала. Только выключила плитку, подобрала с пола мою куртку и постояла немного, я чувствовал, что стоит: между моим затылком и плакатом, как раз на линии, соединяющей меня и парня со световым мечом.

Сквозь то же самое, уже из совсем глубокого, я услышал, как она сказала, тихо, не мне: «Порожняк дошел. Принято». У диспетчеров так закрывается день: когда последний состав встал на свою нитку, можно спать. Видимо, в ее ведомости я сегодня дошел до места назначения.

Потом свет погас. Настоящий, верхний. А фара не погасла: Ведро стояло надо мной и честно, из всех своих шести команд, светило мне в затылок, потому что «свети сюда» никто не отменял, а само оно отменить не могло. Не положено. Класс А.

Так мы и остались в темноте: я, недорешенный билет номер семь, и самая законопослушная табуретка сектора, освещающая своему хозяину дорогу в лучшие пилоты галактики. До квотного экзамена оставалось сто семнадцать дней.

Глава 3. Сгоревший блок

В воскресенье мать устроила мне генеральную репетицию, и подошла она к делу так, как подходила ко всему: по протоколу.

Стол был расчищен до голого пластика. Задачник убран, шпаргалки убраны, даже Ведро выставлено в тамбур, потому что «в Центре твоей табуретки не будет». На столе остались: Гроссбух, стопка чистых листов, два карандаша и сборник квотных вариантов за прошлые годы, который мать выпросила у школьного координатора под честное диспетчерское слово. Сама она села напротив с секундомером, настоящим, механическим, с терминала: у них там электронным время не доверяли со времен одного инцидента, о котором мать рассказывать отказывалась.

— Вариант седьмого года, — сказала она. — Сорок задач, три часа. В туалет можно один раз, по поднятой руке. Разговаривать нельзя. Время пошло.

И щелкнула секундомером так, что у меня внутри что-то само встало по стойке смирно.

Первые десять задач я шел с опережением: арифметика, маркировки, допуски, это я щелкал в уме, Гроссбух только подтверждал. На пятнадцатой начались интегралы, и мы с Гроссбухом перешли на наш обычный парный стиль: я пишу прикидку, старик думает, я грызу карандаш, старик выдает, сходится, едем дальше. К двадцать пятой я поймал ритм, тот самый, рабочий, когда задачи идут как листы по конвейеру, и даже начал думать, что зря мы все это затеяли с такой торжественностью.

Мать наблюдателя изображала со вкусом. Она не просто сидела с секундомером: она ходила. Медленно, по диагонали контейнера, четыре шага туда, четыре обратно, с руками за спиной, и подошвы у нее поскрипывали на каждом третьем шаге. Я на двадцатой минуте понял, что это она не от скуки, а по методике: в Центре наблюдатели ходят, и к скрипу надо привыкать сейчас, пока он бесплатный. Еще она один раз громко, с чувством, высморкалась, и один раз уронила карандаш. Я, к своей гордости, не дернулся. Ну почти.

На тридцать четвертой задаче у меня кончился первый карандаш, на тридцать седьмой заныла шея, а на тридцать девятой мать сказала:

— Десять минут.

Тридцать девятая была про тепловой баланс капсулы, и она считалась долго, четыре захода на Гроссбухе. Я дописывал сороковую, когда секундомер щелкнул второй раз, и этот щелчок я услышал уже всем позвоночником.

— Стоп. Карандаш на стол.

Проверяла она по листу ответов, молча, отмечая галочки с той же скоростью, с какой штопала: быстро, зло, ровно. Я сидел и делал вид, что мне не страшно. Получалось, думаю, процентов на тридцать.

— Тридцать два из сорока, — сказала она наконец. — Порог прошлого года был тридцать. Позапрошлого, двадцать девять.

— Прошел, — выдохнул я.

— Прошел. — Мать положила лист. — С запасом в две задачи. Знаешь, что такое запас в две задачи? Это один незнакомый тип задач в билете. Или одна запавшая клавиша. Или один сосед, который весь экзамен будет щелкать костяшками. Две задачи, Роджер, это не запас. Это заявка на чудо.

— Сороковую я решил, между прочим. Просто не успел записать

— В ведомость идет написанное. — Она собрала листы в ровную стопку. — Не успел записать, значит, не решил. На терминале это называется «состав прошел, накладную забыли»: груза нет, и не спорь. Вывод?

Я посмотрел на Гроссбух. Гроссбух мигал курсором, невинный, как все старики.

— Вывод: тридцать секунд на корень, это роскошь, — сказал я. — Мне бы блок посвежее. Хотя на пять лет посвежее, там уже сопроцессор другой

— Мечтать будешь после экзамена, — сказала мать, но без обычного нажима, и я заметил, что она сама смотрит на Гроссбух и что-то считает. Я даже знал что: цену. Все на этой планете, посмотрев на любую вещь, первым делом считают цену, это у нас вместо любования. — Пока что учи тепловой баланс. Тридцать девятая у тебя из четырех действий сделана двумя.

Вечером я, как честный человек, доучил тепловой баланс. Потом посмотрел свои двадцать минут фильма, дошел с парнем до заката с двумя лунами, проговорил за диктором про белые палубы, отправил Ведро на зарядку и лег. Засыпая, я слышал, как мать бормочет составы, а сеть в щитке гудит чуть выше обычного, и подумал еще, сонно и мимоходом, что надо бы завтра глянуть контакты на вводе.

Хлопнуло в третьем часу ночи.

Не грохнуло, не полыхнуло, именно хлопнуло: сухо, коротко, как лопается перекачанный мяч. Я сел на койке раньше, чем проснулся, это у целинских детей врожденное. В контейнере было темно, только у стола светился экран Гроссбуха, и светился он неправильно. Ровным, глубоким синим. Ни курсора, ни строк, ничего: чистый синий свет, как будто экрану выдали новый цвет и забыли выдать смысл.

А потом я почувствовал запах, и вот тут проснулся по-настоящему.

Паленая изоляция. Кто хоть раз нюхал, тот не перепутает: едкая, химическая вонь с горчинкой, от которой сразу дерет горло и хочется делать три дела одновременно. Я сделал все три: выдернул шнур из щитка, распахнул дверь тамбура и включил верхний свет.

Из вентиляционных щелей Гроссбуха поднимался дым. Немного, две тонкие струйки, но по мне лучше бы он валил клубами: клубы, это горит что-то снаружи, а тонкие струйки, это умерло что-то внутри. Экран еще секунд десять держал свой ровный синий, потом мигнул и погас. Насовсем.

— Нет-нет-нет, — сказал я и полез за отверткой. — Погоди, старик. Погоди.

Мать проснулась, конечно. Встала в дверях спального отсека, посмотрела на дым, на выдернутый шнур, на мое лицо. Спросила одно слово:

— Сеть?

— Скачок, — сказал я. — Ночью же нагрузка падает, напряжение подпрыгивает, а трансформатор старый, он не выравнивает Мам, я его почию.

Мать посмотрела на струйки дыма еще секунду. Ничего не сказала. Ушла обратно, и я слышал, как она легла, и знал, что не спит.

Кожух я снял за две минуты, восемь винтов, они у меня были расхожены до пол-оборота. Внутренности Гроссбуха я знал наизусть, я в нем каждую плату держал в руках еще при покупке, когда он достался нам за четверть цены с гильдейской распродажи списанного, и вид этих внутренностей мне не понравился сразу, с первого взгляда и с первого запаха.

Блок питания. Дешевый, штампованный, я его всегда презирал и всегда собирался заменить, вот прямо в следующий свободный квартал. Первичная обмотка выгорела дочерна, залив лаком половину платы, а пробой ушел дальше, во вторичку, и оттуда, по шине питания, в самое сердце. Конденсаторы на процессорной плате стояли вспухшие, все четыре, крышечки куполом, как будто их надули изнутри. Плохой признак. Хуже некуда признак.

— Ведро, — сказал я. — Ко мне. Свети сюда.

Ведро приехало из тамбура, встало у стола и уперлось фарой в плату. Начался наш ночной консилиум.

Прозвонка первички: обрыв. Ожидаемо, покойся с миром, блок питания. Я отцепил его целиком, благо крепеж был человеческий, и полез в свой ящик за донором. Донор нашелся, зарядный блок от сварочного поста, я его подобрал на поле осенью: напряжениеподходящее,

мощности с запасом, размером, правда, с половину самого Гроссбуха, но красота, это последнее, о чем думаешь в третьем часу ночи.

— Подай крокодилы, — сказал я Ведру. Ведро съездило в угол и привезло мне ложку. Столовую. Я посмотрел на ложку, на Ведро, на его честную фару. Ведро гордо пискнуло: задание выполнено, хозяин доволен, все спят.

— Крокодилы, — повторил я, показывая пальцем. — Зажимы. Вон те. Ложку положи ладно, дай сюда, будешь ассистентом по общим вопросам.

Донорский блок я подключил через зажимы, аккуратно, с амперметром в разрыве. Вторичные напряжения встали как по учебнику: пять ровно, двенадцать и одна десятая. Питание есть. Я подал его на материнскую плату в обход сгоревших цепей и стал смотреть.

Гроссбух молчал.

Ни гудка, ни увертюры, ни щелчка. Кристалл не стартовал. Я прозвонил шину: короткое замыкание на землю, прямо на входе процессорного модуля. Пробой прошел насквозь, через все защиты, которых в этом ценовом сегменте отродясь не ставили, и выжег то, что заменить на Целине нельзя. Дорожки я мог перекинуть проводом, конденсаторы у меня были, донорские, снятые, проверенные. Кристалл у меня был один. Вот этот, мертвый.

Я не сдался сразу, конечно. Я вытащил из-под койки свой главный прибор: осциллограф. Самодельный, из выпотрошенного медицинского монитора, с рукояткой развертки от швейной машинки, я его собирал всю прошлую зиму и гордился им больше, чем всеми починками вместе взятыми. Экранчик у него был зеленый, ладонь на ладонь, и по этому экранчику бежала правда. Приборы вообще не умеют врать, вранье начинается уровнем выше, у людей и у контор.

Правда выглядела так: на шине питания, после всех моих перекинутых дорожек, сидело мертвое короткое замыкание. Я отпаивал от шины потребителей по одному, память, порты, контроллер экрана, и звонил после каждого. Короткое сидело на месте. Когда на шине остался один процессорный модуль, все стало окончательно: пробой внутри кристалла. Ноль целых шесть сотых ома на землю, я даже записал эту цифру на листе, зачем-то аккуратно, как в ведомость. Ноль ноль шесть. Цена всей моей подготовки в омах.

До половины шестого я сделал все, что положено делать над такими покойниками: отмыл плату от гари, перекинул четыре дорожки, заменил конденсаторы, прогрел паяльником пайки по периметру кристалла, есть такой прием, иногда поднимает мертвых, если смерть была в трещине пайки, а не в самом кремнии. Не подняло. Смерть была в кремнии.

Была еще одна попытка, о которой я никому потом не рассказывал, потому что она была от отчаяния, а не от знания. У меня в ящике лежал школьный калькулятор, дохлый, с разбитым экраном, но с живым кристаллом, и я минут двадцать сидел над ним с лупой, прикидывая пересадку. Смешно, да. Кристаллы разных поколений, разная разводка, у калькуляторного сорок восемь ножек, у гроссбуховского двести двенадцать. Это как пересаживать человеку сердце от жука: вопрос не в хирургии, вопрос в том, что ты вообще перепутал разделы учебника. Я закрыл калькулятор и убрал лупу. Умение вовремя убрать лупу, между прочим, тоже часть профессии, только этому нигде не учат.

Ведро все это время светило и подавало, один раз опять привезло ложку, я ее уже молча положил на стол, у нас теперь была дежурная ложка консилиума.

В четыре утра мать встала на смену. Она вышла из спального отсека уже одетая, посмотрела на стол: плата, зажимы, донорский блок, ложка, я. По моему лицу все было понятно, я это знал, потому и не поворачивался.

Она не сказала ничего. Вообще ничего. Постояла в дверях тамбура, наверное, секунд пять, я слышал, что стоит, потом дверь стукнула, и шаги ушли к развозке.

Вот что я вам скажу про молчание. Крик, это переговоры: на крик можно ответить, крик можно переждать, после крика бывает чай. А молчание, это акт. Подписанный, проштампованный, подшитый в дело. Мать молчала, как контора: без вариантов обжалования.

К шести утра я признал то, что нормальный техник признал бы в три пятнадцать. Экран Гроссбуха больше никогда не покажет ни одной цифры. Блок умер как жил: тихо, дешево и не вовремя.

У развозки утром выяснилось, что ночь была урожайной не только у нас. Сосед из четырнадцатого контейнера, сварщик с доков, держал под мышкой плитку с оплавленным шнуром и ругался на трех языках, два из которых я знал. У тетки из девятого сгорел зарядник для фонарей. Еще у кого-то в конце ряда, говорили, полыхнул удлинитель, и там реально бегали с огнетушителем. Скачок ночью ударил по всему нашему ряду, сеть сектора тряхнуло как следует, и трансформатор, который чихал последние недели, чихнул наконец по-взрослому.

— В контору заявить бы, — сказала тетка из девятого без всякой надежды, просто для протокола.

— Заяви, — согласился сварщик. — Они тебе параграф покажут: внутренняя проводка абонента, ответственность абонента. У них на любой пожар параграф есть, кроме того, где они виноватые.

Я слушал и думал, что мой Гроссбук в этой сводке потерь даже не самый крупный: у сварщика плитка, считай, треть месяца. А потом подумал, что нет, вру, самый крупный. Плитку можно заменить плиткой. Мой блок менялся только на билет с этой планеты, а такие в лавке при Куполе не лежали.

На смену я труп понес с собой. Не весь, кожих и раму оставил дома, взял плату и блок питания, завернул в ветошь и сунул в сумку, сам не знаю зачем. Вернее, знаю: на поле был Хруст, а Хруст в мертвом железе понимал лучше всех живых, кого я знал. Должен же существовать прием, которого я не знаю. В четырнадцать лет всегда веришь, что у взрослых припрятан прием, которого ты не знаешь.

Хруст развернул ветошь на верстаке в ангаре, около Коровы, стоявшей на утренней проверке. Понюхал, все старики сначала нюхают. Повернул плату к свету, посмотрел на кристалл через свою лупу с треснутым ободком, поскреб ногтем лак у пробоя. Бригада понемногу подтягивалась к верстаку: на Целине чужая беда, это театр, кино и лекция в одном билете, тем более до развода по квадратам десять минут.

— Питальник в первичке лег, — сказал Хруст наконец. — И за собой утащил. Классика жанра. Дешевые питальники, они как трусливые конвоиры: сами гибнут и груз не спасают.

— Я перекинул дорожки, кондеры заменил, пайку прогрел

— Все ты правильно сделал. — Хруст положил плату на ветошь, как кладут то, с чем закончили. — Грамотно реанимировал. Только труп есть труп, хоть ты его озолоти. Кристалл пробит.

— И что, совсем никак? — спросил я. Голос опять дал петуха на середине, но мне уже было все равно. — Ну есть же способы. Ты же поднимал сгоревший контроллер Коровы, я сам видел

— Лечится, — кивнул Хруст. — Молитвой и заменой всего внутри. Контроллер я поднял, потому что у меня был второй такой же, со сгоревшей ходовой. Из двух трупов один живой, это арифметика. А у тебя труп один. Из одного трупа получается один труп, проверено веками.

Он вытер руки и добавил:

— Проще новый.

Вот тут и наступила та пауза. Особенная, целинская. Потому что все, кто стоял у верстака, слово «новый» услышали одинаково: не как решение, а как цену. Новый вычислительный блок, самый простой, без сопроцессора, в лавке при Куполе стоил двести шестьдесят кредитов. Кредитов, не талонов. А Гильдия платила талонами, и меняла контора десять талонов за кредит, а на руках, у скупщиков, брали и по двенадцать. Я видел, как шевелятся губы у

половины бригады: все считали. На Целине арифметику знают все, ее тут преподает жизнь, бесплатно и с пересдачами.

Я тоже посчитал. Вслух, потому что молчать уже не мог:

— Двести шестьдесят кредитов, это две шестьсот талонами по конторскому курсу. Моя норма, сорок в день. Минус жилье, минус паяк, минус энергия и фильтры, остается талонов двенадцать в день, если не есть по-человечески. Двенадцать в день двести шестнадцать дней. — Я сглотнул. — А у меня сто пятнадцать. И из них еще штраф не отработан.

— Не сходится, — подтвердил Хруст без всякой жалости, спокойно, как приемка подтверждает вес. — И со сверхурочными не сходится, сверхурочные у Крюка по полтора тарифа, но их еще дать должны. И в долг не сходится: тебе четырнадцать, на тебя контракт вешать нельзя, а без контракта в долг дает только дурак или родня.

— Спасибо, утешил.

— Я не утешаю. — Хруст завернул плату в ветошь и подвинул сверток ко мне. — Я взвешиваю. Утешение, это когда врут про вес.

— А с поля? — Я кивнул на ворота ангара, за которыми лежали наши квадраты, тысячи тонн железа до горизонта. — Мы же разбираем корабли. В кораблях вычислители стоят. Я маркировки знаю, я найду блок не хуже

— Найдешь, — согласился Хруст. — Только не возьмешь. Ты чем на разделке занимаешься, юноша? Ломом. Конструкционкой. А вся числодробилка, все блоки управления, память, навигация, это отдельная песня: их из корпусов выщелкивают еще на орбите, при первичной разделке, и вниз они идут отдельным контейнером. Серым таким, с пломбой Корпорации. Видал серые контейнеры на лифтовой площадке? Вот. Туда руку сунешь, и разговор с тобой будет уже не про штраф.

— Почему так?

— Потому что после Чистки так. — Хруст сказал это слово буднично, как говорят «после дождя», и я не стал переспрашивать: про Чистку у нас все знали одинаково мало и одинаково твердо знали, что расспрашивать не надо. — Вычислительное железо на учете. Не всякое, вон, твой Гроссбух никому не сдался, бухгалтерия она и есть бухгалтерия. А что посерьезнее, под опись. Империя любит знать, где у нее что думает.

Я стоял и перебаривал. Выходило красиво, как все у Гильдии: лом можешь таскать хоть до старости, а то единственное, что тебе нужно, едет мимо тебя в сером контейнере под пломбой.

Была еще мысль, и я ее тоже посчитал, честно, до конца. Продать. У меня было что: двадцать шесть чипов, за них круми дал бы талонов сорок, он давно на них шурился. Визор, вещь рабочая, редкая, талонов сто, если найти ценителя, а ценителей на Целине полтора человека. Осциллограф мой, за него бы дали больше всего, может, две сотни: прибор есть прибор. Итого триста сорок талонов, тридцать четыре кредита. Против двухсот шестидесяти. Продать все, что я люблю, и закрыть восьмую часть цены. Даже отчаяние на Целине не сходилось с тарифом.

Про Ведро я не думал. Вот честно, эта мысль попробовала сунуться, и я ее выставил за дверь раньше, чем она разулась. Есть вещи, которые не продаются, и не спрашивайте почему, ответа у меня в четырнадцать лет не было. Сейчас есть: тот, кто продал своего первого робота, дальше продаст и все остальное, по списку, недорого.

Прозвучал сигнал развода, бригада потянулась к Корове, представление кончилось. Я стоял у верстака и держал в руке осколок: при вскрытии от края платы отломился кусок, текстолит с обрывками трех дорожек, я его машинально сунул в карман еще ночью и теперь вертел в пальцах. Острый, легкий, никчемный. Двести шестьдесят кредитов. Сто пятнадцать дней. Одна квота. Порог тридцать задач, а без вычислителя я не решу и двадцати пяти, я это знал точно, я себя мерил.

И вот что странно: реветь хотелось, а не ревелось. Внутри вместо соплей собиралось что-то другое, сухое и злое, и оно складывалось в слова, которые я тогда, у верстака, сформулировал для себя впервые в жизни. Потом я эти слова буду повторять еще лет двадцать, но родились они там, над ветошью с трупом.

Нужной детали никогда нет. Никогда. Это не невезение, невезение, это когда иногда. Это система. Значит, и относиться к ней надо как к системе: не ныть, а искать обход. Отец бы сказал: не верь конторе, верь рукам. Контора говорит «двести шестьдесят кредитов или свободен». Посмотрим, что скажут руки.

— Добуду, — сказал я осколку. Вслух, тихо. — Не куплю, так добуду. Иначе.

Осколок не возразил. Уже что-то.

Сойка догнала меня на полпути к Корове. Пошла рядом, глядя перед собой, и с полминуты молчала, у нее это было подготовкой к речи.

— Слыхала я твою арифметику, — сказала она наконец. — Считаешь ты складно, весь в отца. А только зря ты при всех цену вслух мерил. Тут уши длинные, а беда, она привлекает советчиков. Насоветуют.

— Каких советчиков, тетя Сойка?

Она пожевала губами. Посмотрела на восток, туда, где за горизонтом гудел лифт, потом почему-то на север, где не было вообще ничего, только старые квадраты, на которые давно не ходили машины.

— Раньше в Тихом брали, — сказала она. — Пока не забоялись.

И все. Больше ни слова: подошла наша очередь грузиться, Крюк уже орал про параграфы, начиналась смена, обычная смена, сто пятнадцать дней до экзамена, минус вычислитель, минус двадцать талонов штрафа, плюс осколок платы в кармане.

В Тихом брали. Пока не забоялись.

Про Тихий квадрат я знал ровно столько, сколько положено знать пацану с полей: что он есть и что туда не ходят. Северный край старых полей, участки первой разметки, куда машины не гоняли уже лет двадцать: не выгодно, тариф на дальние квадраты не окупает солярку, так объясняла контора. Взрослые объясняли короче: не ходят, и ты не ходи. Без страшилок, без баек, что само по себе было страннее любых баек: про токсичные озера у нас травили истории каждую пятницу, а про Тихий молчали, как контора про свои коэффициенты.

Я поднялся на платформу и всю дорогу до квадрата смотрел на север. Там, за последними рабочими квадратами, за столбами старой разметки, лежала серая полоса до самого горизонта, и над ней, как над всей Целиной, гудел через подошвы лифт. Одинаково гудел. Ему было все равно, тихий квадрат, не тихий: физика на этой планете работала без коэффициентов, и это, пожалуй, было единственное, на что я к своим четырнадцати годам научился твердо рассчитывать.

Глава 4. Три двери

За пять дней после похорон Гроссбуха я починил: плитку соседа-сварщика, зарядник тетки из девятого, два фонаря, вытяжку в общей умывальне и замок на чужом сундуке, о содержимом которого я профессионально не спрашивал. Итого двадцать семь талонов чистыми. Из них двадцать в четверг ушли в контору, штраф по параграфу шесть-два, и в кассе мне выдали квиточек с печатью, который я зачем-то храню до сих пор. На руках осталось семь. Семь талонов при цене вопроса в две тысячи шестьсот: я двигался к цели со скоростью примерно один процент в неделю, и по всему выходило, что вычислитель я себе куплю к тридцати годам, аккуратно к экзамену, на который берут до шестнадцати.

Про замок, кстати, стоит рассказать, потому что это была самая честная сделка недели. Хозяин сундука, дед с крайнего ряда, привел меня к себе, поставил перед сундуком и сказал: открой, ключ утерян, что внутри, не твое дело. Я спросил, точно ли сундук его. Дед обиделся так качественно, с таким искренним звуком, что сомнений не осталось: его. Замок был механический, древний, я с ним провозился час, два раза лез за осциллографом по привычке, хотя куда там осциллограф, механика. Открыл в итоге проволокой и терпением. Внутри, я все-таки увидел краем глаза, лежали тарифные книжки, стопка фотографий на настоящей бумаге и женские ботинки, ни разу не ношенные. Дед выдал мне пять талонов и закрыл сундук обратно, не взяв ничего. Я шел домой и думал, что ничего не понимаю во взрослых, и это, пожалуй, было самое точное мое наблюдение за всю неделю.

А в целом ремонт по мелочи, это обманчивое занятие. Кажется, что вот оно: руки есть, хлама вокруг горы, чини да богатеи. На деле у всего сектора денег столько же, сколько у тебя, и платят тебе не за работу, а за жалость к собственной плитке. Три талона, пять талонов. Сварщик, человек широкий, дал шесть и на прощание посоветовал не заниматься ерундой, а идти в доки, к взрослым деньгам, лет через шесть.

Шести лет у меня не было. У меня было сто десять дней.

Поэтому в свой выходной я поехал в Купол Омега открывать двери. План у меня был написан на бумажке, по-честному, столбиком: рынок, контора, Крюк. Три двери, три законных способа. Я тогда еще верил, что если способ законный, значит, он для всех. Смешно. Ну так мне и было четырнадцать.

До Купола развозка идет сорок минут, и это лучшие сорок минут выходного: сиди себе на лавке и смотри, как мимо едет планета. Сначала жилые ряды, контейнер за контейнером, с бельем на растяжках и антеннами из чего попало. Потом доки, где всегда что-то грохочет и откуда тянет кислым: там варят, режут и прессуют, и там работают грунды, здоровенные, серые, немногословные, лучшие прессовщики сектора. Потом сам Купол вырастает из пыли, сперва как горб, потом как гора, и на подъезде видно заплаты на остеклении, каждая заплатка другого оттенка, потому что латали в разные десятилетия тем, что было.

Купол Омега, это наша столица, если у свалки бывает столица. Старый терраформерский купол первой волны, километр в поперечнике, под которым живет все, что на Целине не лом: контора, лавки, школа, медпункт, бар «Житница» и рынок. На входе, у шлюзовых ворот, стоит проходная с турникетом, и турникет этот не охраняет ничего, он считает: сколько вошло, сколько вышло, Гильдия любит учет. Над проходной висел флаг, имперский, выцветший ровно до того же костяного оттенка, что и все флаги, плакаты и мечты на этой планете. Я на него никогда особо не смотрел. Флаг и флаг, часть погоды.

В Куполе воздух гоняют через нормальные фильтры и дышится там до странного легко, я каждый раз первые минуты дышал впрок, как будто можно надышаться вперед на неделю. Еще в Куполе другой звук: не скрежет и не гул, а сплошной человеческий гомон, от которого

с непривычки чешутся уши. И только лифт под ногами гудит тот же самый, наш: его через подошвы слышно даже сквозь купольный бетон, и мне это всегда нравилось. Как будто вся планета, от последнего квадрата до столичного рынка, подключена к одной шине.

Рынок занимал весь южный сектор, и половина рынка была крумийская.

Если вы никогда не видели круми, то вот вам инструкция по первой встрече. Во-первых, не смотрите сверху вниз, хотя придется: взрослый круми достает мне до груди. Во-вторых, следите за верхними руками, нижние вам покажут товар, а верхние в это время будут говорить. В-третьих, все, что вам скажут, правда, и все это одновременно неправда, и в этом нет противоречия, это торговля.

Лавка старого Чиптика, у которого я третий год менял находки на чипы, была устроена как лабиринт: три ряда стеллажей, завернутых спиралью, и чем глубже к центру, тем дороже товар. Снаружи гроздьями висели кабели и патрубки, добро на вес. В середине лежали приборы, инструмент, блоки. А в самом центре, под колпаком из настоящего стекла, жили вещи с ценниками, написанными от руки: у круми это высшая категория, товар, о котором хозяин готов разговаривать.

Пахло в лавке специями и припоем. Не спрашивайте, как уживаются эти два запаха, но у круми они уживаются везде, я подозреваю, что это у них государственный стандарт.

Чиптик вел два торга одновременно. Нижними руками он показывал грундихе с доков сварочные щитки, перебирал их, поворачивал к свету, а верхними в это же самое время торговался с механиком за катушку серебрянки, и оба разговора шли полным ходом, с божбой, заламыванием рук, по паре на разговор, и трагическими паузами. Я дождался, пока грундиха уйдет со щитком, и положил на прилавок свою бумажку со столбиком.

— Мне нужен вычислительный блок, — сказал я. — Учебного класса хватит. Что есть?

Чиптик посмотрел на меня всеми четырьмя глазами, у круми их два, но смотрят они так, что кажется, четыре. Убрал верхние руки под фартук: жест уважения, разговор серьезный.

— Мальчик Форк пришел за мозгами, — сказал он. — Слышал, слышал. Сеть скушала твой ящик, весь ряд гудел. Есть блок. Есть даже два блока, но второй тебе не покажу, не позорюсь. Смотри первый.

Из-под стеклянного колпака, из высшей категории, приехал на нижних руках блок: «Логос-12», учебная серия, лет восемь от роду. Я такие видел в школе Купола, у координатора. Целый корпус, родная пломба сервиса, экран без единой царапины. Я взял его в руки и чуть не заскулил: он был легкий, теплый от лампы, и он считал бы мои интегралы за две секунды. Не за тридцать. За две.

— Сколько?

— Двести сорок кредитов, — сказал Чиптик нижним ртом, у круми он один, но по интонациям кажется, что два. — Тебе, как поставщику чипов, двести двадцать.

— У меня нет двухсот двадцати. У меня есть двадцать девять талонов и вот это. — Я выложил на прилавок все, что принес на обмен: несколько реле, шаговый движок, пакет разъемов в заводской смазке. — И руки. Я могу отрабатывать. Перемотка, пайка, что скажешь.

Дальше мы торговались по-настоящему, минут двадцать. Хороший торг, как хорошая пайка, снаружи скучный, но кое-что показать стоит, для понимания жанра. Начал Чиптик с того, что мои катушки реле «пахнут полем», это у круми значит: товар ворованный или найденный, цена вполтину. Я в ответ разложил реле рядком и предложил прозвонить любое на выбор, у меня с собой был тестер, и это был правильный ход: круми уважают, когда покупатель готов к проверке больше продавца. Реле поднялись в цене обратно.

Потом Чиптик воззвал к клану: четыре руки в четыре стороны, каждая о своем горе, аренда, поборы, сын-бездельник, дорогой припой. Я переждал, к клану взывают для ритма, отвечать нельзя, перебивать нельзя, надо смотреть сочувственно и молчать. Потом настала моя очередь давить, и я выложил на прилавок ведомость с пробного теста, тридцать два из сорока,

и сказал, что через сто десять дней либо сдам, либо нет, и если сдам, то у Чиптика в Академии будет свой человек, который десять лет будет слать ему адреса распродаж списанного имперского имущества. Вот тут он впервые за торг засмеялся, обоими интонациями сразу, и сбросил еще десятку: круми ценят наглость, посчитанную в кредитах.

Я сбил цену до двухсот десяти, поднял свой хлам до девятнадцати талонов, выбил обещание брать мою пайку по два талона за вечер. Чиптик торговался всерьез, не поддавался, у круми поддаться в торге, это как плюнуть в покупателя, и где-то на двадцатой минуте мы уперлись в стену, которую я до того дня в упор не видел. Сумма оказалась недостижимой.

— Рассрочка, — сказал я. — Половину сейчас соберу, продам кое-что. Остальное по десять талонов в неделю. Чиптик, ты меня три года знаешь.

— Знаю, — согласился Чиптик, и все четыре руки у него на секунду замерли, а это у круми знак самой печальной правды. — Ты хороший должник, мальчик Форк. Но рассрочка на такую цену, это по кодексу только под поручительство. Клан спросит: кто отвечает? Я скажу: мальчик. Клан скажет: мальчику четырнадцать, за него отвечает Гильдия. Иди в контору, возьми бумагу поручительства, и я дам тебе рассрочку хоть на год, четырьмя ладонями скреплю.

— И сколько стоит бумага?

— А вот это ты у конторы спроси. — Чиптик убрал «Логос» обратно под стекло, аккуратно, как убирают чужую мечту. — Только я тебе заранее скажу, я эти бумаги видал: поручительство стоит дороже блока. Так устроено, мальчик. Не мной. Тебе дорого, тебе скидка, скидку я дал. А больше скидки у меня для тебя только правда: тебе дорого.

Он помолчал и добавил, уже нормальным голосом, без торговых интонаций:

— Чипы завтра принесешь? Есть покупатель на кино.

— Чипы не продаются, — сказал я привычно, и мы расстались довольные друг другом, как всегда расстаются после честного торга два человека, один из которых маленький и без денег.

Дверь номер два стояла через две улицы от рынка и называлась «Тарифная контора Гильдии Сборщиков, отделение Купол Омега». Я взял в автомате номерок, сто семнадцатый, а на табло горело «сорок два», и сел в очередь, в длинный ряд стульев, привинченных к полу, чтобы никто не унес. Стулья в конторе, между прочим, были лучшие на планете: литые, вечные, конкордатские еще. Гильдия умела выбирать, на чем сидеть ее очереди.

Очередь на Целине, это отдельный жанр со своими законами. Сидят молча, но все всё про всех знают. Каждые минут десять кто-то встает и уходит, не дождавшись, и по рядам проходит короткое шевеление: пересаживаются на стул ближе. У окошек стоят те, у кого накопело, и говорят громко, и их слушают все, бесплатный театр, и по тому, как быстро человек отходит от окошка, очередь безошибочно ставит диагноз его делу.

Пока я сидел, у окошек отыграли три спектакля. Первым выступал мужик с дальних полей, у него в ведомости потерялась целая смена, и он размахивал путевым листом, а клерк отвечал, что путевой лист без отметки весовой, это не документ, а воспоминание. Мужик отошел быстро, диагноз очереди: проиграл. Вторым стоял грунд из доков, огромный, в прожженной робе, и спор у него был тонкий: контора считала его по графе «нестандартная физиология», с понижающим коэффициентом ноль девяносто два, потому что стандартная спецодежда на него не лезет и Гильдия шьет отдельную. Грунд гудел на весь зал, что он этой спецодежды в глаза не видел четвертый квартал, что прессует он за двоих, и пусть тогда платят за двоих с коэффициентом. Клерк листал перечень. Очередь болела за грунда в открытую: коэффициент ноль девяносто два знали все, у половины сектора он был свой, за разное. Грунд отошел с бумагой «на пересмотр», диагноз: ничья, по нашим правилам почти победа. Третий спектакль был короткий и лучший: бабка с седьмого ряда пришла продлевать талоны на кислородные

фильтры и принесла с собой все справки. Вообще все, какие выдают человеку за жизнь. Клерк попытался найти, чего не хватает, честно искал минут пять, очередь затаила дыхание, как на финале гонки. Не нашел. Продлил. Бабка уходила от окошка медленно, с прямой спиной, и очередь провожала ее взглядами, какими в древних голофильмах провожают уходящий в закат корабль-победитель.

Рядом со мной сидел старик со свертком тарифных книжек за много лет, он их держал на коленях, как держат кота. Когда у окошка в очередной раз заспорили про весовые коэффициенты, старик сказал, никому и всем:

— При Конкордате взвешивали честно. Весы стояли на площади, любой подойди и проверь.

— Дедушка, в Ковше всегда так было, — отозвался молодой клерк, проходивший мимо с папками. Сказал без злобы, даже ласково, как говорят заученное со школы.

Старик посмотрел на него снизу вверх, долго, и ответил одним словом:

— В Черпаке, сынок. В Черпаке.

Клерк не понял и ушел. Я тоже тогда не понял, честно говоря. Но запомнил на вырост: у нас на Целине половина главных вещей говорилась вот так, одним словом, которое надо было донести до дома и разворачивать самому.

Мой номер загорелся через два часа десять минут. За окошком сидела женщина возраста моей матери, с лицом человека, который двадцать лет говорит «нет» и давно этим не наслаждается. Я подал заявление, я его написал заранее, дома, печатными буквами: прошу рассмотреть выдачу целевой ссуды либо поручительства Гильдии на приобретение вычислительного блока для подготовки к квотному экзамену. Изложил. Приложил справку из школы, ведомость с пробного, квиточек об уплаченном штрафе, я решил, что честность украшает.

Клерк прочитала все. Внимательно, надо отдать должное, до последней строчки. Потом развернула к себе терминал, потыкала, посмотрела в сетку и сказала без всякого злорадства, буднично:

— Мальчик, у нас нет такой графы.

— Какой графы?

— Никакой. Смотри. — Она развернула терминал экраном ко мне, и это, между прочим, был единственный раз за день, когда со мной поступили по-человечески: показали внутренности системы. — Ссуды выдаются по графам. Лечение, есть графа. Похороны, есть графа. Замена жилого блока, есть. Инструмент по профессии, есть, но вычислитель не входит в перечень инструмента сортировщика, перечень утвержден, вот он. Образовательной графы нет вообще: обучение по квоте бесплатное, значит, расходов не предусмотрено. Понимаешь? Не «нельзя». Некуда записать.

— Но мне же надо, — сказал я. Аргумент так себе, но к тому моменту у меня других не осталось.

— Надо, это не графа. — Она вернула мне мои бумажки, ровной стопочкой, даже подравнила. — Мечта не является образовательной целью, у целей есть номера параграфов. Приходите, когда будет параграф. Следующий, сто восемнадцатый!

И вот что я вам скажу: она не издевалась. Ни капли. Она бы и рада была записать, я видел. Просто в ее сетке будущее не значилось как категория расходов. У Гильдии можно было умереть, лечиться, хоронить и работать, на все это имелись графы. Стать кем-то другим графы не было. Я вышел из конторы с бумажками в кулаке и с новым знанием о мире, которое стоило дороже, чем ссуда: система не злая. Злую можно было бы разжалобить. Система просто не умеет читать слова, которых нет в ее сетке, и обижаться на это так же бесполезно, как ругать Гроссбух за медленный корень.

Оставалась третья дверь, и вела она в знакомый ангар.

Крюка я поймал вечером, после развода, когда он заполнял ведомости на верстаке у Коровы. Десятник выслушал меня, не поднимая головы от планшета, и я знал, что это хороший знак: когда Крюк смотрит на тебя во время разговора, он уже формулирует параграф.

— Аванс, — сказал он, дописав строку. — Аванс, Форк, это красиво. Устав, параграф девять: аванс выдается лицам, доказавшим ненужность аванса. Не дословно, но суть я тебе передал верно. У тебя выработка, у тебя штраф свежий, у тебя четырнадцать лет и нет контракта. По сетке тебе не положено ни-че-го, и я тут бессилен, как твоя табуретка перед лестницей.

— А не по сетке?

Я это спросил тихо, но он услышал, и вот тут впервые за разговор поднял голову. Посмотрел на меня, потом почему-то на ворота ангара, на пустой проем, в котором остывало вечернее поле.

— А не по сетке, — сказал он негромко, — я бы тебе, дураку, может, и подкинул бы смен сверх ведомости. Отец твой мне однажды смену спас, я долги помню. Но не сейчас. По сектору жучок шныряет.

— Кто?

— Не кто, а что. Ухо конторское. Проверяющий по внештатным выплатам, ищет, кому платит мимо ведомости. Уже двоих десятников с южных полей разжаловали. Так что сейчас, Форк, у меня для тебя все строго по уставу, и скажи спасибо: устав хотя бы известен заранее. — Он вернулся к ведомости, поставил подпись и добавил, уже как бы не мне, а в планшет: — Заработать у нас можно только тем, что никто делать не хочет. Запомни, пригодится. Всё, что хотят делать все, стоит три талона. Иди домой, у тебя смена в шесть.

Три двери, три отказа. По дороге к развозке я честно подвел итог на своей бумажке, прямо на ходу, карандашом: рынок, минус, поручительство дорожке блока. Контора, минус, нет графы. Крюк, минус, жучок. Внизу под столбиком осталось пустое место, и я поймал себя на том, что не знаю, что туда писать. Не «сдаюсь» же.

Доска объявлений висела у ворот доков, при остановке развозки: фанерный щит под навесом, на котором контора вывешивала тарифные листы, розыск должников и приказы по сектору. Официальные бумаги висели ровно, по линейке, с печатями. А по краям доски, на полях, жила вторая жизнь: рукописные записки, кто продает фильтры, кто ищет напарника, кто меняет койку у Купола на койку у доков. Контора эти записки срывала по пятницам, записки нарастали обратно к понедельнику. Природа.

Я стоял, ждал развозку и читал доску, просто чтобы не читать свой столбик. И в правом нижнем углу, под объявлением о продаже насосной станции, увидел листок. Четвертушка тарифного бланка, оборотная сторона, косой быстрый почерк, три строки:

«Пустой квадрат. В ночь после третьей смены. Лоадеры. Ставка кредитами. Кто понял, тот понял».

Я оглянулся. Остановка была пустая, только грунд-грузчик дремал на лавке, привалившись к столбу, и видно его было издалека. Я снял листок с гвоздя, сложил вчетверо и убрал в карман, к осколку платы.

Про ночные заезды я знал то же, что все пацаны сектора: что они бывают. Изредка, без расписания, на дальних квадратах, где ночью нет никого, кроме списанных машин и того, кто их зачем-то заводит. Говорили, что смотрящий доков держит тотализатор. Говорили, что ставки там взрослые, кредитами, живыми. Говорили шепотом, потому что Гильдия за самовольную эксплуатацию списанной техники штрафовала так, что штраф за инициативу вне наряда рядом с этим выглядел чаевыми. Я в эти разговоры никогда не лез, у меня не было ни ставки, ни повода.

Теперь у меня не было только ставки.

Сердце стучало где-то в ушах, и стучало оно не от страха. Лоадеры я водил с одиннадцати лет. Это отдельная история, короткая и типовая для Целины: когда отца не стало, пенсию за кормильца Гильдия оформила талонами, по своей сетке, и талонов этих на двоих не хватало. Мать пошла на вторые полусмены, а меня Хруст, ничего не объясняя и не спрашивая, начал сажать рядом с собой в кабину, а потом и за рычаги, на подхвате: перегнать лоадер с квадрата на квадрат, подвезти контейнер к весовой, откатить пустую раму. По ведомости меня там не было. По жизни я за три года выкатал столько часов, сколько иному контрактнику не снилось, и руки мои помнили каждую машину сектора: у какой люфтит правый рычаг, у какой плывет гидравлика на холодную, какая тянет влево на груженом ходу.

Первым меня начал учить, самую малость, еще отец, посадив на колени в кабине. Остальное доучил Хруст. И если в этой галактике существовала хоть одна вещь, которую я умел делать лучше взрослых, то она называлась: слушать машину и вести ее ровно там, где другие рвут газ.

А еще, и вот об этом не знала даже мать, за старым ангаром на нашем квадрате, под брезентом, между списанной цистерной и штабелем гнилых рам, стояла одна машина. Моя.

Ставка кредитами. Кто понял, тот понял.

Дома я вел себя как обычный уставший человек после выходного в Куполе: поужинал, рассказал матери про очередь, про грунда с коэффициентом, она хмыкнула, она эти коэффициенты знала по своей ведомости. Про рынок рассказал половину: был, торговался, дорого. Про листок не рассказал ничего. Листок лежал во внутреннем кармане куртки, и мне все время казалось, что он там шуршит, хотя лежал он тихо, как все настоящие улики. Врать я матери не врал, если кто спросит. Я просто разложил правду по графам, как учит контора: на сказанное сейчас, на сказанное потом и на то, для чего параграф еще не придумали.

Ведро подъехало, ткнулось в койку и посветило мне в лицо: последняя команда «свети» была еще утренняя, и в его табуреточной вселенной я, видимо, до сих пор нуждался в свете. Я сказал «тихо» и почесал его по кожуху, чего команды не предусматривали, но кожух не возражал.

Третья смена по графику стояла через два дня. До экзамена оставалось сто десять, и у меня наконец-то появился план, который не требовал ничьей графы.

Глава 5. Гонка

Его звали Утюг, и он был некрасивый.

Я это говорю без обиды, чистая приемка фактов: мой лоадер был самым некрасивым самоходным устройством сектора, а сектор наш, поверьте, видал многое. Рама от ГП-6, кабина от «шестьдесят второго», задний мост вообще неустановленного происхождения, я его выменял у дока-разборщика за две смены помощи, гидравлика собрана из трех комплектов, и все это выкрашено в цвет «какая была», то есть местами в серый, местами в рыжий, а местами в честную ржавчину. Ковшовые рычаги я снял, ковш Утюгу был не нужен: я строил не работягу. Я строил ходока.

Поднимал я его год. По вечерам после смен, по выходным, за старым ангаром, под брезентом, на пятачке, который Хруст называл «отстойник утиля», а я называл «мой цех». Формально Утюг числился утилем: рама списана, движок списан, все по бумагам мертвое. Оживлять утиль для себя устав не разрешал и не запрещал, там про это просто не было параграфа, и Хруст, который эту дыру в уставе знал, однажды сказал мне единственное напутствие: «Не попадайся с ним на глаза весовой и живи». Я не попался.

Утюг был некрасивый, зато он слушался. Я знал его весь, до последней гайки, потому что каждую гайку в нем крутил лично, дважды, а некоторые по пять раз. Я знал, что третья ось у него слабая, крепление моста устало еще до моего рождения, и на жестком ударе ее может повести. Я знал, что движок тянет ровно до двух тысяч восьмисот, а выше начинает греть вторую банку. Я знал звук, с которым у него встает на место гидравлика утром, недовольный такой звук, стариковский: опять ты, малой, чего тебе неймется.

Два вечера перед заездом я готовил его так, как не готовил ничего и никогда. Перетянул все крепления по списку, список у меня был написан на внутренней стороне кабинной дверцы, мелом, сорок одна позиция. Сменил масло: свежее, вернее, свежее для нас, отработка с фильтрацией через ветошь и отстой, но лучше той смолы, что была. Прожег свечи, отрегулировал клапаны на слух, на прогревом, подтянул тяги рычагов так, чтобы люфт ушел в ноль: на грядах люфт ворует полсекунды на каждом входе. Промыл фары, обе, разномастные, одну от Коровы, одну от чего-то давно съеденного полем.

С третьей осью я сделать не мог ничего и это надо было честно признать. Крепление моста устало по металлу, там жила трещина, старая, темная, я ее знал в лицо. Наварить? Некому и негде: сварка в доках, в доках вопросы. Я обжал крепление стремянками, стянул усталое место двумя хомутами, положил сверху три витка синей изоленды, отцовской, и сказал оси вслух: два круга держишь спокойно, еще два держишь как хочешь. Ось не возразила. У нас с техникой вообще к тому времени сложился рабочий язык: я им говорю, они молчат, потом видно, кто кого услышал.

В ночь после третьей смены я снял с него брезент, и мы поехали на Пустой квадрат.

Перед выездом я совершил свой ритуал, полностью, по протоколу, как мать со своим секундомером. Сел на койку, надел визор, отмотал на середину и посмотрел ровно одну сцену, ту, где парень стоит у испарителей и смотрит на две луны, а музыка поднимается так, что тесно в груди. Двадцать лет спустя я бы сказал: сцена о том, как хочется отсюда свалить. В четырнадцать я формулировал проще: сцена о том, что таким, как мы, тоже положен взлет. Потом снял визор, сунул в карман моток синей изоленды, отцовской, из ящика, и вышел в ночь. Люк перед стартом в каньоне, я уверен, делал что-то похожее. Правда, у Люка не отваливалась третья ось.

Пустой квадрат лежал на отшибе, за доками, первая разметка, снятая с баланса еще до талонов. Гильдейские машины туда не ходили, прожекторного питания там не было, и именно поэтому раз в месяц-полтора там появлялся свет.

Я услышал гонку раньше, чем увидел. Сначала через раму Утюга пришел басовитый стук генератора, ворованного, судя по захлебу, с ремонтной летучки. Потом за грядой встало зарево, белое, дерганое: прожектора, штук шесть, растянутые на кабелях по периметру. Потом голоса, много, гомон, как в Куполе, только злее и веселее. А потом я перевалил гряду и увидел трассу.

Трасса была красивая. Вот все на этих гонках было ворованное, кривое и вне закона, а трасса красивая, и с этим ничего не поделаешь: овал километра в полтора, накатанный между мусорными грядами, с двумя слепыми поворотами, где гряда закрывает выход, и одной длинной дугой вдоль старого канала. Гряды в свете прожекторов стояли как горные хребты, только из хребтов торчали ребра шпангоутов. Пыль висела над всем этим золотым туманом. Народу собралось сотни полторы: пацаны с полей, молодые контрактники, докеры, пара грундов, и все делали вид, что просто гуляют тут ночью, в восьми километрах от жилых рядов.

Тотализатор держал смотрящий доков, и звали его Жбан. Я его знал, как знают погоду: видел издалека, вблизи не попадал. Мужик лет пятидесяти, короткий, широкий, с лицом, на котором эмоции кончились еще при Конкордате. Он сидел на пустой катушке у весового вагончика, при нем стоял детина с тетрадью, и очередь желающих поставить двигалась мимо детины быстро и тихо, как на приемке.

Ставить на себя мне пришлось самому, таков был порядок: гонщик подходит, называет машину, кладет ставку.

— Утюг, — сказал я, когда дошла очередь. — Сам поведу.

Детина посмотрел на меня, потом за мою спину, где в темноте пыхтел Утюг, и что-то шевельнулось у него в лице, что при желании можно было счесть улыбкой.

— Взнос за участие пять кредитов. Ставка сверху, по желанию.

Я выложил все. Взнос пять, и сверху ставка: двенадцать кредитов, заработанных пайкой у Чиптика, он платил за тонкую работу живыми, полтора кредита за вечер, и тридцать один талон, все, что накопилось после штрафа, подработок и десяти дней экономии на ужине. Детина пересчитал талоны, скривился, талоны на гонках шли по курсу скупщиков, двенадцать за кредит, записал: «Утюг, сам, четырнадцать с половиной». Четырнадцать с половиной кредитов. Год моей жизни в пересчете на вечера, вся моя наличность до последнего талона, одна строка в чужой тетради.

— Выплата один к шести, если доедешь первым, — сказал детина. — Правила простые: побеждает быстрый. Получает уважаемый.

Я тогда решил, что это у них присказка такая. Присказка и была. Просто я ее не дослушал.

Машин на старт вышло восемь и парк этот стоил отдельного взгляда. Пока мы ждали построения, я прошелся вдоль ряда, по профессиональной привычке, и наслушался на неделю вперед. У крайнего лоадера, водил его докер с перевязанной кистью, движок работал с провалом на низких: забит жиклер, лечится продувкой, но кто ж ему скажет. У второго гидравлика подвывала на подъеме, воздух в контуре, будет вялый на грядах. Третий был собран вообще без головы, зато с любовью: хозяин, пацан года на три старше меня, разрисовал ему кабину молниями, и молнии эти были единственным быстрым, что в нем имелось. Мы с ним кивнули друг другу, как кивают люди одной религии.

Про остальных из шестерки можно коротко: обычный полевой утиль, поднятый такими же, как я, только постарше. А вот седьмая была фаворитом, и на нее ставил весь док: «почти заводской» лоадер, желтый, целый, с родной гидравликой, у него даже фары стояли парные и одинаковые, что на наших полях выглядело почти неприлично. Водил его детина по кличке Косарь, взрослый, лет двадцати пяти, с плечами, в которые можно было упереть балку. Он на этих гонках, как я потом узнал, выигрывал третий раз подряд.

Косарь подошел, когда я проверял крепление третьей оси. Постоял, посмотрел сверху вниз, сплюнул аккуратно мимо моего колеса, культурный.

— Малой, тут не песочница. Раздавлю и не замечу.

— Ты сначала догони, чтоб давить, — сказал я. Бравата процентов на шестьдесят, для меня рекорд.

Косарь хмыкнул и ушел к своему желтому. А я остался у третьей оси и дослушал то, что начал слышать еще на его подходе. Его лоадер стоял метрах в десяти, на холостых, и в общем гуле, если наклонить голову и выключить все лишнее, было слышно: в правом переднем у желтого поет подшипник. Тонко, на пределе, с тем самым периодическим призывом, который дает обойма, когда в ней уже пошла усталостная дорожка. На холостых это песня. Под нагрузкой, на четырех кругах по грядам, это приговор, вопрос только в счете кругов.

Я ничего никому не сказал. А что говорить? Придет пацан к взрослому: у тебя подшипник поет. Взрослый пошлет пацана по адресу, и будет прав по форме. Машина сама все скажет, у нее не забалуешь.

Старт дали фонарем: Жбан лично поднял и опустил ручной прожектор, и восемь лоадеров рванули в пыль.

Про первые два круга рассказывать почти нечего, кроме того, что это было лучшее, что случилось со мной за четырнадцать лет жизни. Не подумайте, что я забыл про блок, экзамен и сто дней. Я все помнил. Но есть состояние, когда машина, трасса и ты соединяются в одну систему, и в этой системе нет ни одной лишней детали, и все тарифные сетки мира остаются за грядой. Утюг шел. Гряды били в подвеску, пыль стояла стеной, в слепых поворотах приходилось идти по памяти, по колее, накатанной за первый круг, и Утюг шел, некрасивый, тяжелый, ровный, как утюг по простыне.

Ехал я по своей науке, единственной, какая у меня была: не рвать. Лоадер, это не гоночная машина, у него нет запаса на красоту. У него есть момент, сцепление и живучесть, и выигрывает не тот, кто быстрее едет, а тот, кто меньше теряет. Я держал свои две тысячи шестьсот, входил в гряды под ровный газ, отпускал машину там, где она сама знала, как ей качнуться, и к концу второго круга шел четвертым, и три машины впереди меня рвали.

Первым, конечно, рвал Косарь. Желтый у него был реально хорош, он на прямой вдоль канала уходил от всех, как от стоячих, и толпа на гряде орала. Но я его слышал. Каждый раз, когда мы сходились в поворотах, я ловил сквозь пыль и рев его правый передний: песня поднималась. К третьему кругу подшипник уже не пел, он выл, с подвизгом на каждом сжатии, и я знал этот вой, я его слышал на Корове за неделю до того, как у нее лопнула обойма на весовой. Косарь не слышал ничего. У него в кабине ревел его собственный движок, и редела его собственная уверенность, а она у людей громче всего.

На третьем круге сошли двое: один поймал ребро шпангоута в колесо, второй перегрел движок и встал в белом пару. Осталось шесть. Докера с провальным жиклером я обошел на дуге вдоль канала, он на прямой давил, а из поворотов выползал, движок не подхватывал с низов, и весь его выигрыш съедали первые тридцать метров после каждой гряды. Пацана с молниями я обошел еще проще: он свою машину жалел, как я Утюга, только он жалел тормоза, а я жалел не разгоняясь, и разница между этими двумя жалостями за круг набежала метров в двести. Я вышел на третье место, не обгоняя больше никого: те, кто был впереди, сами освобождали мне дорогу, убираясь с нее в гряды и в пар. Это, кстати, главный секрет всех гонок на свете, только он никому не нужен, потому что скучный: чтобы приехать первым, достаточно никуда не деться.

Предпоследняя гряда четвертого круга была самой злой на трассе: высокая, с жестким приземлением на укатанный грунт, и после нее сразу слепой правый. Всю гонку я проходил ее одинаково: сброс перед гребнем, мягко через верх, газ на выходе. Терял на этом секунды

полторы за круг. Косарь всю гонку брал ее внаглую, в полный газ, на пролет, и его желтый каждый раз приземлялся с таким ударом, что у меня сводило зубы за его подвеску. За подвеску зря: подвеска у заводского была честная. А вот правый передний подшипник

Я его услышал даже сквозь свой движок. Короткий, сухой хруст, как будто кто-то раздавил горсть гравия, и сразу тишина на месте воя, а тишина на месте воя, это самое страшное, что бывает в механике. Обойму разорвало на приземлении, колесо встало враспор и повело, и желтый лодер на полном ходу, на выходе в слепой правый, вместо поворота пошел прямо. В гряде.

Он не перевернулся, скажу сразу, Косарь отделался дугой на кабине и неделей громких рассказов. Желтый воткнулся в осыпь, снес себе передок и застрял по фары, и когда я проходил поворот, в свете моих фар было видно, как из-под капота у него идет ленивый белый пар, а сам Косарь бьет кулаком по рулю. Я не злорадствовал. Честно, не успел: у меня оставалось полкруга и вся моя жизнь на кону.

И еще, чтобы закрыть вопрос, который мне потом задавали: нет. Я не подстроил, не подрезал и даже не молился на его подшипник. Я просто не мешал ему проигрывать. Человек всю гонку старательно, с полной отдачей, на глазах у полутора сотен свидетелей убивал свою машину, и у него получилось. Мешать чужой работе невежливо, так меня учили старшие.

Финишный створ, два прожектора на столбах, я прошел первым, с отрывом секунд в двадцать. Помню, как встал, как заглушил движок и положил лоб на руль, и Утюг подо мной тикал остывающим железом, часто-часто, как будто у него тоже колотилось сердце. Помню рев толпы, вполне искренний: на меня, как выяснилось, поставили полтора человека, и эти полтора человека в ту ночь озолотились, а толпа любит, когда кто-то озолотился, это дает всем остальным лицензию на надежду.

Четырнадцать с половиной кредитов при выплате один к шести, это восемьдесят семь. Плюс ставка назад. Сто один кредит, тысяча с лишним талонами, половина «Логоса» одной ночью, и Чиптик дает рассрочку под под что-нибудь дает, я что-нибудь придумаю. Я шел к весовому вагончику через толпу, меня хлопали по плечам, и я, дурак, позволил себе целых три минуты побыть победителем.

У вагончика сидел Жбан. Детина с тетрадь стоял рядом и выдавал выплаты, быстро, не глядя, как приемка. Когда подошла моя очередь, детина посмотрел не в тетрадь, а на Жбана. И Жбан сказал, не мне, а куда-то поверх, спокойно, как объявление по громкой:

— Мелкому без поручителя не положено. Порядок такой: выплата уважаемому человеку. Предъявишь крышу, получишь. Взнос и ставку тоже верну крыше, все по-честному.

Я сначала честно не понял. Переспросил даже. Мне объяснили, коротко, без злости, как объясняют устройство мира: выплаты на гонках идут только тем, за кого есть кому спросить. Взрослому контрактнику, докеру, человеку клана. За четырнадцатилетнего с полей спросить некому, значит, и выплачивать некому: нет субъекта. Правила простые: побеждает быстрый, получает уважаемый. Присказка, которую я не дослушал, оказалась не присказкой, а параграфом. У них тут тоже была своя сетка, у тeneвых, и в этой сетке для меня тоже не было графы.

— Я выиграл, — сказал я. Тихо, потому что в горле стояло.

— Выиграл, — согласился Жбан, впервые посмотрев прямо на меня, и в глазах у него не было ни насмешки, ни жалости, вообще ничего, приемка. — Гоняешь хорошо. Подрастешь, приходи, будешь в деле. А сейчас иди домой, малой. Ночь на дворе.

Самое страшное было не это. Самое страшное было то, что толпа расходилась. Просто расходилась, буднично, переговариваясь о своем: никто не возмутился, не удивился, не сказал «так нельзя». Полторы сотни человек видели, как пацана лишили выигрыша, и для полутора сотен человек это была не новость, а погода. Дождь пошел. Мелкого кинули. Бывает, да не всегда нет, вот тут именно что: бывает всегда.

Один человек все-таки подошел. Пацан с молниями на кабине, он приехал пятым, догнал меня на полдороге и пошел рядом, глядя, как я, себе под ноги.

— Меня прошлой весной так же, — сказал он. — Приехал вторым, а выплату забрал бригадир моего дядьки, как «уважаемый». Дядька потом отдал половину, и то потому что родня. — Он шмыгнул носом. — Ты не думай, тут все по-честному. Просто честность у них своя, весовая. Гоняешь ты, кстати, страшно: ровно, как по ведомости. Я так не умею, я газую.

— Не газуй, — сказал я. Больше у меня для него ничего не было.

Он кивнул с уважением, как будто получил формулу, и отстал. Может, и получил.

Список поручителей я перебрал тут же, по дороге, благо он был короткий. Мать. Мать была человеком с настоящей должностью, и по весам Жбана не весила ничего, а узнай она про Утюг и про ночные заезды, похоронила бы обоих: сначала Утюг, потом меня, и оба раза по правилам. Чиптик. Чиптик, пожалуй, дал бы крышу, как даёт рассрочку, и по той же ставке: у пацана с молниями выплату забрал бригадир его же дядьки и вернул половину, потому что родня. Мы с Чиптиком родней не были. Больше в списке не значилось никого. Сорок одна позиция креплений на дверце кабины и одна графа в списке тех, кто может за меня спросить, да и та с прочерком. Такая у меня выходила комплектация.

До Утюга я дошел ровным шагом, я себе это зачел потом отдельной строкой: дошел ровно, не побежал и не заревел. Сел в кабину, взялся за рычаги.

И услышал.

На финише, на последнем приземлении, когда я уже позволил себе радоваться, что-то хрустнуло внизу, и я тогда решил: показалось, потом гляну. Теперь, на холостых, в ночной тишине, было слышно без всякого «показалось»: третья ось. Крепление моста лопнуло по старой усталости, мост висел на честном слове и одной целой проушине, и каждый метр хода дорабатывал это слово до конца. Утюг прошел свою гонку на пределе и сломал в ней спину. Мы с ним, выходит, выиграли одинаково.

До дома он не доехал бы. До дома его было и не надо: утиль, поднятый без параграфа, после такой ночи следовало разобрать быстро и тихо, пока весовая не заинтересовалась, откуда на Пустом квадрате свежие следы. У прожекторов уже крутился барыга с доков, из тех, что пасутся на любой беде, и морда у него была профессионально сочувствующая. Начал он с пяти, с профессиональным вздохом: рама лопнула, мост висит, кому это надо. Я в ответ, на автомате, потому что торговаться меня учил Чиптик, а горевать не учил никто, продиктовал ему опись: движок живой, держит две восемьсот, гидравлика живая, собрана из трех комплектов, но собрана правильно, обе фары живые, кабина целая, резина на сорок процентов. Мертвое в машине одно: крепление третьей оси, металл, копейка. Барыга слушал, склонив голову, потом посмотрел на меня с чем-то похожим на уважение: люди его профессии ценят точную опись выше вежливости. Мы сторговались за девять кредитов. Девять. За год моих вечеров, за раму от ГП-6, за движок, который держал две восемьсот, за машину, которая час назад выиграла гонку. Барыга отсчитал мятые бумажки и уехал на моем Утюге в темноту, и смотреть вслед я не стал, потому что есть вещи, на которые смотреть необязательно.

Я стоял посреди пустеющего квадрата с девятью кредитами в кулаке. Прожектора гасли один за другим, генератор заглох, и на гряды возвращалась нормальная целинская ночь, с холодом, ржавым запахом и гулом лифта через подошвы. Итог ночи, если по ведомости: минус вся наличность, минус лоадер, плюс девять кредитов и плюс одно знание, за которое в приличных мирах берут дорого: победа без статуса равняется нулю. Можно быть быстрее всех. Считают не скорость, считают, кто за тобой стоит.

— Держи. Горячий еще.

Я обернулся. Из темноты, со стороны погасшего генератора, подошел Хруст. В руке у него была жестяная кружка, и от кружки шел пар, и пахло цикорным варевом, которое у нас

называли кофе примерно с теми же основаниями, с какими Целину называли Жемчужиной. Я взял кружку двумя руками, руки, оказывается, замерзли.

— Ты здесь откуда? — спросил я. Голос почти не дрогнул.

— Я на все заезды хожу. — Хруст встал рядом и посмотрел на трассу, над которой оседала пыль. — Смотрю. Мне по должности положено знать, кто из молодых как водит. Вдруг кадры.

Он помолчал. Отхлебнул из своей кружки, второй, я только теперь заметил.

— Машину слушал, — сказал он. Не спросил, а подтвердил, как весовая подтверждает тоннаж. — Всю гонку. Я видел, как ты его правого переднего пас с третьего круга. Вот и людей так же слушай, у людей тоже все слышно, если не глохнуть от собственного движка. Только людям подшипник не заменишь.

Он кивнул на вагончик Жбана.

— У этого, например, обойма лопнула лет тридцать назад.

— Он меня кинул, дядь Хруст.

— Он тебя взвесил. — Хруст сказал это без осуждения, как говорил все. — По его весам ты пока легкий. Злиться на весы дело пустое, я тебе уже объяснял. Надо набирать вес.

Мы стояли и пили цикорий, и пар от кружек уходил вверх, к звездам, которых над Целиной видно мало, пыль, но какие видно, те стоят насмерть. Потом Хруст сказал то, ради чего, как я сейчас понимаю, он и шел через весь квадрат с двумя кружками:

— Завтра в ночь у меня рейс на орбиту. Кладбищенский маршрут, двенадцать часов, погрузка на внешнем поясе. Напарник мой опять по печени лечится, эль ему доктор прописал, не иначе.

Он отхлебнул.

— Гонять ты умеешь, я посмотрел. Пойдешь возить по-настоящему?

Кулак, которым я всю ночь сжимал сначала ставку, потом девять кредитов, потом просто сам себя, разжался как-то сам.

Первый в моей жизни дверь открылась сама. Не та, в которую я стучал. Но открылась.

— Пойду, — сказал я.

— Тогда спать иди, полузаяц, — сказал Хруст, забирая у меня пустую кружку. — Рейс в четыре утра. Опоздаешь на минуту, уйду без тебя, и это будет самый дешевый урок пунктуальности в твоей жизни.

Что такое «полузаяц», я спросить не успел: Хруст уже уходил в темноту, унося обе кружки. Ладно. До четырех утра завтрашней ночи оставалось чуть больше суток, и я твердо знал две вещи: что не просплю и что матери об этом рейсе буду рассказывать по той же системе, что про листок. По графам.

Гла

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.